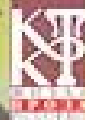


1800-1809



ИЮЛЬ 2011

Е. Маурин



# ВЕНЦЕНОСНЫЙ РАБ КРОВАВЫЙ ПИР НА ОБЛОМКАХ ТРОНА

ХХІІІ

## Annotation

В романах Евгения Ивановича Маурина разворачивается панорама исторических событий XVIII века. В представленных на страницах двухтомника произведениях рассказывается об удивительной судьбе французской актрисы Аделаиды Гюс, женщины, через призму жизни которой можно проследить за ключевыми событиями того времени.

Во второй том вошли романы: «Венценосный раб», «Кровавый пир», «На обломках трона».

---

- [Евгений Иванович Маурин](#)

- [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,](#)

- [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)
    - [IV](#)
    - [V](#)
    - [VI](#)
    - [VII](#)

- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ,](#)

- [I](#)
    - [II](#)
    - [III](#)

- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX

- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ,

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X

- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

- I
- II
- III
- IV
- V

- notes

- 1
- 2
- 3

- [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
- 

## **Евгений Иванович Маурин**

### **Кровавый пир**

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,**  
**которая вводит читателя в**  
**предварительный круг**  
**событий**

# I

## Сон диктатора

Максимилиану Робеспьеру снился сон. Перед ним раскинулось большое урюмое поле, и это поле была Франция. Низко-низко над землей нависали густые клубы удушливого дыма, прорезаемые зловецим багрянцем пожарного зарева, которое кидало кровавые зайчики на чахлую, серую растительность и трупы, в изобилии усеивавшие поле – Францию. А среди трупов бродили волки. Большие, косматые, страшные, они со сладострастной жадностью набрасывались на скорчившиеся в мучительной агонии тела, вгрызались в них оскаленной пастью и по уши погружали окровавленные морды в горячие, еще дымящиеся внутренности.

Всесильному диктатору стало страшно. Ему хотелось бежать от этого зрелища, хотелось отвернуться, закрыть глаза. Но мертвенная неподвижность сковывала ноги, и глаза, не подчиняясь воле, продолжали в упор смотреть на разгоравшуюся оргию кровавого пира.

И видел Робеспьер, что у тех волков – человеческие лица... знакомые, близкие лица! Вот безжалостный Барэр де Вьезак «Анакреон [\[1\]](#) гильотины», вот Сен-Жюст, этот «мозг» диктатора, и Кутон, его «фука»; вот

гениальный стратег, администратор и инженер Карно, «бич Вандеи» Ронсен, страстный трибун Дантон; вот оба Приера, Ленде, Колло д'Эрбуа, Жан-Бон, Сент-Андре, Вадье, Лавикомтри, Дюбаррен, Леба, художник Давид, Анахарсис Клоц. И себя самого наконец увидел под личиною волка всесильный Максимилиан Робеспьер! В таинственной раздвоенности он был и тут, и там: одновременно смотрел на ужасное зрелище и принимал в нем участие, замирал от боли, скорби и негодования при виде бедствия родины и в то же время хищно скалил зубы, выискивая новую жертву.

А прежних жертв уже показалось мало ненасытным волкам. Скаля зубы, злобно поблескивая фосфорическими огоньками в глазах, издавая стонущее рычание, они недоверчиво озирались друг на друга, и вдруг их косматые тела сплелись в общей свалке. Вот присел, отбиваясь от стаи недругов, неистовый Дантон. С бешенством разбрасывал он по сторонам наседавших на него волков, пока Робеспьер-волк, к ужасу Робеспьера-зрителя, не ринулся на него, не ухватил его зубами за затылок... И когда под яростно ущемляемыми челюстями Робеспьера стали с мягким хрустом поддаваться шейные позвонки волка-Дантона, когда тот вдруг начал оседать и корчиться в бессильной ярости, Робеспьер выпустил свою жертву, выпрямился, вытянул шею и протяжно, торжествующе завыл. Остальная стая принялась догрызать павшего Дантона, и вмиг от

гордого трибуна остались одни лишь клочки.

Кончили волки, облизнулись, а затем вдруг стали медленно подползать к Робеспьеру, пощелкивая зубами, жадно поблескивая фосфоресцирующими зрачками. На одну минуту всеильным диктатором овладело чувство безумного страха. Он закрыл глаза, и это погубило его. Сразу напала на него свирепая стая. Вот и ему, как Дантону, вцепилась в загривок чья-то горячая пасть. Вот напала на него тяжелые, шершавые тела товарищей-волков. Робеспьер сделал отчаянное усилие, чтобы высвободиться, вцепился в тело ближайшего волка, напрягся и... скинув с головы душившее его одеяло, с досадой отбросив подушку, в которую он вгрызся зубами, соскочил на пол и остекленевшими от ужаса глазами осмотрелся вокруг.

Все было удивительно чисто, приветливо, мирно в этой скромной, почти бедно обставленной спальне. Вид чисто выбеленных стен, на которых играли первые лучи раннего осеннего солнца, подействовали успокоительно, отрезвляюще на разгоряченное кошмаром воображение Робеспьера. Он медленно провел обеими руками по лицу, как бы отряхивая последние остатки страшного сна, надел туфли и подошел к окну.

Широко распахнув обе половинки окна, Робеспьер до половины высунулся, наслаждаясь ароматной свежестью ясного осеннего утра. Кроткая, таинственная

свежестью ясного осеннего утра. Кроткая, традиционная меланхолия, которой всегда полна осень, нежной дымкой обвевала позднюю роскошь цветов, как будто торопившихся разукрасить последние дни своего краткого существования пестрым фейерверком ярких красок. А над цветочными куртинами свисали понурые ветви серебристых тополей, в матовой листве которых, словно седина в волосах стареющей красавицы, уже проглядывала предательская желтизна. И только неугомонные птицы с обычной деловитостью сустились в садике, оглашая воздух трескучим щебетаньем, как будто для них не существовало времен года и вечно царила одна весна.

Робеспьер жадно дышал свежим, ароматным воздухом, смотрел на тихую прелесть этой идиллической картины и чувствовал, как сознание мало-помалу стало воцаряться в его разгоряченном мозгу, как все строже укладывались хаотически разбросанные мысли, как все энергичнее вступал в свои права холодный, трезвый рассудок. И, рассеянно следя за какой-то птицей, которая с ликующей песней понеслась все выше и выше к безоблачному небу, Робеспьер думал:

«Почему так глубоко поразил меня этот вздорный сон и почему душа уже готова видеть в нем мрачное пророчество? Разве этот сон открыл мне что-нибудь такое, чего я раньше не знал? Разве Дантон втайне не обречен мною на смерть и разве не твердил я себе



каждый час, что всякий шаг к власти приближает меня к эшафоту? Да, и меня принесут когда-нибудь в жертву интересам великой Франции, как теперь ради той же цели я жертвую другими жизнями. Это — закон необходимости, который я давно познал. Почему же какой-то сон мог смутить меня?

Быть может, меня взволновало то, что мы, идейные вожди освобожденной Франции, явились в этом сне под личиной бессмысленных, одной лишь кровожадностью воодушевленных волков? Но разве я не знал и без того, что все эти отбросы низверженной тирании иначе не называют нас, как волками? Они думают оскорбить нас этим. Глупцы! Они не знают, что и волк — лишь исполнитель воли Верховного Существа, что кровожадность зверя — звено в стройной гармонии мироздания! Не будь волков, и все слабые, больные, отсталые тяжелым бременем легли бы на армию, задержали бы ее шествие вперед. Не будь волков, поля сражений обратились бы в очаги страшной заразы. Так и мы отсекаем все то слабое и немощное, что способно задержать великое движение человечества на пути к идеалам свободы. Так и мы исполняем обязанности великих социальных санитаров, уничтожая элементы тления и заразы, убирая политически омертвелые организмы. Да! Мы — волки! Но мы можем гордиться этим. Ведь мы творим лишь волю Высшего!

Значит, все это не могло, не должно было

подействовать на меня так угнетающе. В чем же дело? Неужели в том, что до сих пор моя смерть представлялась мне лишь умозрительно, отвлеченно, а ныне предстала предо мной во всей своей трагической реальности? Неужели же я дрогну, когда придет этот час, и трусливо, робко положу последний камень воздвигнутого мною памятника? Неужели допущу, чтобы низменные животные инстинкты преодолели разум философа?»

На одну минуту Робеспьер закрыл глаза руками, как бы охваченный мучительными предчувствиями, но, когда сейчас же отнял руки, его лицо уже дышало полным спокойствием. И устремив взор туда, где из-за тополей проглядывало ослепительное сияние утреннего светила, он преклонил колени, простер руки к солнцу и с глубокой верой сказал:

— О, Ты, Высшее Существо, правящее миром! Просвети и наставь меня, дай мне сотворить волю Твою! Когда же настанет мой час, дай мне твердость, чтобы я мог умереть, как подобает гражданину!

Эта молитва окончательно успокоила Робеспьера, окончательно внесла мир и порядок в чувства и мысли. Он с обычной щепетильной тщательностью занялся туалетом, затем отыскал на кухне молока и хлеба, позавтракал с отличавшей его аскетической скромностью потребностей и сел за письменный стол, чтобы просмотреть очередные дела

## II

### Маркиз де Ремюза

Дел, ждавших быстрее рассмотрения, было очень много. Тут были вопрос об урегулировании цен на съестные припасы, возросших до невероятных размеров, записка об окончательном утверждении конституции и мнения о необходимости задержать ее применение, проект закона о подозрительных и многое другое. Но Робеспьер отложил в сторону папки с этими делами и развернул одну, на которой красными чернилами, словно кровью, было четко выведено: «Революционный трибунал».

В этот день предстояло заседание этого страшного судилища, почти не ведавшего оправдательных приговоров, знавшего лишь два рода наказаний – ссылку и смерть, но за редкими исключениями не практиковавшего первого из них. Президентом революционного трибунала был Герман, вице-президентом – Дюма, судьями и присяжными – Кофиналь, Дюпле (квартирный хозяин Робеспьера), Никола (его типографщик), Субербьель, Рендуен и Топино-Лебрэн, публичным обвинителем – Фукье-Тенвиль. Таким образом сам Робеспьер, бывший официально лишь одним из членов комитета

общественного спасения, как будто не имел отношения к автономному, безапелляционному трибуналу. Но это было лишь «как будто», а на самом деле Робеспьер так же неограниченно распоряжался делами этого судилища, как и делами комитета и всей Франции. Он был полновластным диктатором, и революционный трибунал был одним из органов его власти. Независимые внешне члены трибунала получали все инструкции от Робеспьера, который в важных случаях предрешал судьбу обвиняемых.

Сегодняшний процесс — процесс «десяти аристократов» — был очень важен в глазах Робеспьера. Из десяти обвиняемых, представителей самых громких фамилий старой аристократической Франции, только двое были скомпрометированы уликами в попытке организовать бегство королевы Марии Антуанетты из тюрьмы. Против пятерых было только необоснованное подозрение, а остальные трое могли считаться скорее друзьями нового строя, чем защитниками павшей монархии. Вот почему процесс был отложен, так как Робеспьер отдал строгий приказ во что бы то ни стало подготовить почву для обвинения. Со старой Францией надо было кончать! Наследственные враги народа должны были сойти со сцены жизни!

Теперь данные для обвинения были добыты, и еще третьего дня Фуке-Тенвиль вручил Робеспьеру подробный доклад о полученных результатах. Но

диктатор за массой дел и тревог не успел еще просмотреть его. За этот-то доклад и взялся теперь Робеспьер.

Как докладывал публичный обвинитель, данные обвинения могли считаться вполне достаточными, принимая во внимание патриотическое одушевление судей. Виконты д'Аррас и де Брюйес, а также граф Огюст Морни уличены бесповоротно и не только сознались в заговоре против блага республики, имевшем целью освободить «гражданку Капет» из тюрьмы, но имели еще дерзость заявить, что исполнили лишь долг дворянина и верноподданного. Маркиз де Верту, барон д'Юзес, шевалье де Броншар и граф де Луру-Беконэ не сознались в соучастии, но их вина доказывается тем, что они бывали постоянными гостями д'Арраса и подолгу совещались с ним и с Брюйесом и Морни. О чем же могли говорить эти аристократы, как не о деле, интересовавшем всех лакеев низверженного тирана, то есть об освобождении вдовы казненного Людовика XVI? Кроме того, из допроса первых двух выяснилось, что они относились несочувственно к казни короля и заключению королевы, а последние трое, равно как виконт де Лион д'Анжер и маркиз де Нивернэ, были замечены в театре «Лицея» страстно аплодировавшими пьесе «Адель де Саси», в которой, как известно, достаточно похоже инсценирована история королевы.

«только по отношению к последнему обвиняемому, — написал далее Фукье-Тенвиль, — улики оказались крайне шаткими, вернее — их нет совсем. Дознано, что маркиз де Ремюза...»

При этом имени Робеспьер вздрогнул и невольным движением оттолкнул от себя доклад. В последнее время он забыл, что в числе обвиняемых находится также и Ремюза, и теперь это имя опять вызвало в душе диктатора целый хаос самых разнообразных чувств и дум. Робеспьер сам не мог понять, радуется ли он или досадует на то, что против Ремюза нет никаких улик; не мог разобраться, перевешивает ли в его душе человек или политик.

Да, против Ремюза не было улик, и Робеспьер понимал, что их и не могло быть. Одна только вина была бесспорна, это — происхождение от длинного ряда угнетателей народа, все же остальные улики служили по большей части лишь маской, прикрывавшей эту главную, самую глубокую вину. Но... но разве та услуга, которую оказал Робеспьеру пять лет тому назад Ремюза, не обязывала к благодарности? Правда, эта услуга была оказана частному человеку, и только как частный человек, а не как государственный деятель мог отблагодарить его Робеспьер; но разве сама по себе эта услуга не свидетельствовала, что Ремюза в значительной степени лишен обычных пороков своей касты, что он — не защитник монархического произвола? И в

воспоминании Робеспьера воскрес тот трагический эпизод, при котором состоялось его знакомство с маркизом де Ремюза.

Это было в Аррасе, где Робеспьер занимался адвокатурой, посвящая свои досуги литературе и философии. Тогда он еще не мечтал о широкой государственной деятельности и скромно жил в уютной квартирке вместе со своей племянницей Люси Ренар, дочерью его рано умершей старшей сестры.

Люси была истинным солнцем, благословением его трудовой жизни. Очень хорошенькая, живая, веселая, умненькая, она наполняла домашнюю атмосферу звонким щебетаньем ликующей юности. Дядю она окружала самой внимательной, любовной заботой, заменяя ему мать, жену и сестру. Как славно, как тихо текла тогда жизнь Робеспьера! Юриспруденция – теоретическая и практическая, философия – главным образом любимый Жан-Жак Руссо – и поэзия заполняли всю его тихую, довольную жизнь. Да и поэзия тоже! Кто бы мог поверить, что Робеспьер, теперь кровожадный, неумолимый, жестокий, пять лет тому назад писал нежные, чувствительные стихи, что и теперь он не оставил служения музам?

Так шли дни, и казалось, что вечно будет длиться безоблачное счастье. Но горе уже сторожило их.

Однажды, возвратившись домой довольно поздно после заседания Аррасской академии, в делах которой

Робеспьер принимал деятельное участие, он с ужасом узнал, что Люси ушла под вечер на часок к подруге, но до сих пор не возвращалась. Робеспьер прождал ее некоторое время, затем кинулся к этой подруге, обегал всех знакомых, у которых могла бы быть Люси, но везде слышал в ответ, что никто из них не видал в этот день девушки.

Робеспьер побежал домой, питая слабую надежду, что Люси тем временем вернулась. Когда же эта надежда не оправдалась, он словно зверь забежал по комнате, перебирая в уме все способы выручить племянницу из постигшей ее беды... Он уже не сомневался, что беда действительно случилась, и отлично понимал, какого рода была эта беда. За хорошенькой девушкой усиленно гонялись местные петиметры, ну а этот народ способен на все!

Какие ужасные минуты переживал тогда Робеспьер! Главное, что приводило в отчаяние и бешенство, — это сознание полной беспомощности. Поднять на ноги полицию, добиться приема у губернатора и молить его содействия, обратиться к друзьям? Но ведь для того, чтобы можно было сделать что-нибудь, надо прежде всего знать, где искать Люси! Конечно, завтра весть об исчезновении девушки облетит весь город и, наверное, к дяде пропавшей придут все, кто мог дать хоть какое-нибудь указание. Но разве есть хотя бы какая-либо возможность бездейственно ждать этого долгого



возможность бездейственно ждать этого долгого, страшного «завтра»?

Грохот подъехавшего экипажа вывел Робеспьера из этого мучительного состояния. Он кинулся на улицу и увидел, что какой-то молодой дворянин привез растерзанную, до неузнаваемости изменившуюся Люси. С девушкой делалось Бог знает что: она то падала в глубокий обморок, то билась в сильнейшем истерическом припадке, рвала на себе платье и волосы, ломала руки, кусала пальцы и кричала страшным, душу леденящим голосом.

Дворянин, оказавшийся маркизом де Ремюза, помог внести несчастную в дом, съездил за доктором и вообще выказал участие, чрезвычайно тронувшее обезумевшего от горя Робеспьера. И все время долгой болезни Люси маркиз постоянно заезжал узнавать о ее состоянии.

Не скоро удалось добиться от Люси рассказа, как случилась с нею беда. Но самое главное было уже известно из показания маркиза.

Да, невеселая была это история! Все время, пока Люси шла к подруге, за нею неотступно следовала какая-то карета со спущенными занавесками на окнах. В глухом переулке карета вдруг остановилась, из нее вышли трое молодых людей с масками на лицах, схватили растерявшуюся девушку, заткнули ей рот платком и сунули ее в карету. Последняя сейчас же понеслась с бешеной скоростью. Куда? Это Люси не

могла видеть, так как шторы окон были плотно закрыты. Она только чувствовала, что сначала они ехали по шоссе, а затем, видимо, свернули на проселочную дорогу.

Наконец карета остановилась, Люси завязали глаза, затем взяли на руки и понесли куда-то. Когда ей снова развязали глаза, она увидела себя в очень хорошеньком лесном домике, обставленном с большой роскошью. Затем девушку освободили от платка во рту, и один из похитителей обратился к ней как ни в чем не бывало с предложением принять участие в ужине и подкрепить свои силы. Когда же девушка с негодованием потребовала объяснения такого чудовищного насилия и приказала немедленно отпустить ее, покончив с шуткой, зашедшей слишком далеко, тот же дворянин ответил ей с дерзким смехом:

– Полно, красавица моя, ты уже вышла из детских лет и должна понимать, где раки зимуют! Не для того похищают хорошеньких мешанок, чтобы отпускать их, ничем не попользовавшись. Так тебе отсюда не уйти! Ну, так примиись с неизбежным и будь умницей! Садись, ешь и пей! А завтра утром я отпущу тебя, одарив знатным приданым. Примиись, девушка, покорись, потому что все равно – добром или насилием, но ты будешь моей!

Сказав это, он протянул руку, чтобы обнять Люси, но энергичная девушка ответила ему звонкой

пощечиной и кинулась к дверям. Однако в один миг ее настигли, и, хотя Люси отбивалась, царапаясь и кусаясь, словно пойманный зверек, негодяи быстро скрутили ее по рукам и ногам и положили на широкую оттоманку.

Затем они уселись за стол и принялись жадно есть и пить. Пили они особенно много, и по мере того, как вино кидалось им в голову, в их растленном мозгу рождались все новые преступные мысли. В конце концов они выработали адский план. Раз красавица так недоступна и зла, то порознь им, пожалуй, с нею не справиться. Но... разве они не друзья? Так чего же им стесняться друг друга. Они по очереди докажут мятежной мещанке, что она сделала глупость, не примирившись добровольно с неизбежным! А потом, когда все трое пресытятся ее прелестью, от девушки надо будет избавиться. Конечно, убивать ее они не станут – неблагородно дворянину пачкать руки в крови женщины, они просто занесут ее связанной в чашу и оставят там: в этой местности много всякого хищного зверя, который и сделает все остальное!

Случилось так, что около этого времени маркиз де Ремюза, гостивший у родственников в Аррасе, возвращался в город после визита к одному из соседних помещиков. Юноша ехал в легком экипаже по красивой лесной дороге, как вдруг издали донеслись заглушённые женские крики о помощи.

Оглядевшись, маркиз сообразил, что находится

неподалеку от знаменитого «охотничьего домика» графа де Понте-Корво.

Об этом домике и его хозяине в народе ходили недобрые слухи. Де Ремюза знал графа по Парижу и понимал, насколько эти слухи правдоподобны. Действительно, граф де Понте-Корво, единственный наследник громкого имени и громадного состояния предков, отличался дьявольской развращенностью. Его предки были выходцами из Италии, отличались чрезвычайной гордостью и боялись унизить себя неравным браком, а потому у них практиковались исключительно семейные союзы. И так случилось, что кровь, не освежаемая притоком извне, стала вырождаться. Отец и дед графа покончили с собой в припадке острого сумасшествия. У единственного ныне графа де Понте-Корво извращенная разнузданность, жестокость, доходившая до сладострастия, и отвратительная кровожадность явно указывали на умственную ненормальность. И действительно, было что-то безумное в удовольствиях и развлечениях графа.

Крики о помощи явно указывали маркизу, что граф в тиши леса терзает новую жертву. Не раздумывая долго, де Ремюза остановил экипаж и кинулся в лес на голос.

Невозможно описать ту страшную, возбуждающую глубочайшее отвращение картину, которая открылась маркизу в охотничьем домике. Вид жертвы придавал

мужество юноше. Не обращая внимания, что негодяев — трое и что тут могли оказаться еще и слуги, он ринулся с обнаженной шпагой на насильников. Слуг в домике не было (граф избегал лишних свидетелей), а неожиданность появления непрошеного защитника, растерянность негодяев, хмель — все это стало союзником юноши. Граф де Понте-Корво тут же пал, сраженный ударом шпаги в сердце, а его приятели трусливо бросились в окна. Маркиз не стал преследовать их. Подхватив на руки бесчувственную девушку, он понес ее к экипажу. Кучер сейчас же признал девушку, и поэтому ее прямо свезли к дяде.

Долго проболела Люси, а потом пришло новое горе. К несчастью, маркиз опоздал на полчаса, и самому графу удалось добиться своего. Теперь последствия насилия стали сказываться: Люси с ужасом обнаружила, что скоро станет матерью. Правда, нервная горячка, которую вызвало это открытие, избавила Люси от плода, но зато все перенесенные муки так потрясли ее хрупкий организм, что дело кончилось параличом, поразившим нижнюю половину тела. И так случилось, что хорошенькая, жизнерадостная девушка в расцвете лет оказалась навсегда прикованной к креслу!

В первый период болезни маркиз де Ремюза чуть не ежедневно бывал в доме скромного адвоката. Его так трогало безграничное отчаяние Робеспьера, ему так жаль было надломленной молодой жизни девушки, что он не

мог уехать, не дождавшись поворота в состоянии здоровья больной. Поэтому он со дня на день откладывал свою поездку в Англию, куда собирался отправиться с образовательной целью.

В течение этого времени Робеспьеру пришлось много беседовать с маркизом, и он имел возможность убедиться, насколько Ремюза непохож на большинство людей своей касты. Конечно, будучи молодым, веселым и богатым, Ремюза не вел жизни анахорета; нет, он давал полный выход молодым силам, искрометным ключом бившимся в его натуре, и его любовные приключения не раз вызывали сенсацию даже в самом Париже, которого ничем не удивишь. Но во всех этих историях сквозило неизменное душевное благородство, в них никогда не было ничего, способного наложить пятно на имя порядочного человека, а главное — они не составляли для него цели и сути существования. Ремюза много читал, думал, и взгляды, которые он высказывал в разговорах с Робеспьером, доказывали, насколько его ум мог подняться над эгоистическим лесом кастовых интересов.

Маркиз откровенно признавался, что не может понять короля и еще менее — его наущников и советчиков.

— Если бы я, — не раз говорил он, — потерпел кораблекрушение и доплыл до необитаемого острова, нагруженный съестными припасами. и если бы на этот

остров прибыл еще один потерпевший, лишенный всего, я поспешил бы поделиться с ним своим добром. Но в таком акте сказалось бы прежде всего только благоразумие. Человек, ставший перед лицом необходимости, не станет рассуждать о правах других, а постарается обеспечить свое собственное существование, и, если я не поделюсь с товарищем по несчастью, он напряжет все свои силы, чтобы убить меня и завладеть всем моим добром. Народ и дворянство ныне поставлены в положение именно таких двоих людей. Франция разорена и может прокормить население только при дружественной совместной работе. И прежде всего аристократия должна поступиться своими привилегиями, должна отказаться от права вести разгульную жизнь за счет изнывающего в работе земледельца. В стране не хватает хлеба, а аристократы твердят о священности прав! Но когда у народа нечего будет есть, он сам отнимет эти права вместе с жизнью. Ни аристократия, ни сам король не хотят понять, что они танцуют на вулкане, что право возможно лишь при нормальных условиях жизни, а там, где жизнь вышла из нормы, законы права уступают законам необходимости. Король громко вещает о прерогативах монарха, о том, что Божий помазанник творит лишь волю Его и ни перед кем, кроме Него, не ответствен! Но ведь это — богохульство валить все на Божьего Бога! Разве Бог не хочет, чтобы страна пережила

Господа Бога! Разве Его воля, чтооы страна разорялась, народ нищел? Нет прав без обязанностей, и раз король доказал, что не может вывести государственный корабль из бездны, он должен призвать на помощь других кормчих, должен поступиться своими прерогативами в пользу народа. Ведь сам-то король плавает в довольстве, страдает народ. Так кому же, как не народу, решать свою дальнейшую судьбу?

Много говорил по этому поводу маркиз де Ремюза, и всегда его рассуждения были проникнуты благородной трезвостью ума, искренней любовью к родине, горячим сочувствием к обездоленному народу. Не будучи в душе революционером, отнюдь не одобряя насильственных действий, Ремюза открыто говорил, что при упорстве короля и знати только революционный путь может спасти Францию от окончательного разгрома.

Когда Люси стала поправляться, Ремюза уехал в Англию и пробыл там несколько лет. Тем временем Робеспьер был избран депутатом от третьего сословия в собрание генеральных штатов и переехал с разбитой параличом Люси в Париж. Дороги Ремюза и Робеспьера разошлись, и вот после нескольких лет имя Ремюза всплыло перед Робеспьером, когда оказалось в списке десяти аристократов, арестованных комитетом общественного спасения по доносу одного из тайных агентов – Жозефа Крюшо.



Уже тогда имя маркиза де Ремюза остро поразило Робеспьера и охватило его душу невыразимым смятением. Первым его движением было сейчас же бежать в комитет и приказать, чтобы Ремюза выпустили на свободу. Но Робеспьер был прежде всего человеком нравственного долга; он тут же сказал себе, что безопасность государства не может страдать от личных чувств его руководителей, что добродетель человека не искупает преступления гражданина, что услуга была оказана не Франции, а Робеспьеру. Но в то же время нежный образ Люси ярким укором стоял перед его глазами! Поэтому, не придя ни к какому окончательному решению, Робеспьер решил сначала обождать результатов дознания.

Теперь эти результаты были перед ним, теперь настало время сказать свое последнее слово. О, как не хотелось всесильному диктатору опять, как всегда, отрешиться в этом деле от всяких личных чувств, как протестовало чувство гражданского долга против малейшего пристрастия в силу личных соображений! Как же быть? Как выйти из этой дилеммы мысли и чувства?

Но прежде всего надо было дочитать доклад Фуке-Тенвиля. И опять взяв в руки бумагу, Робеспьер стал читать далее:

«Дознано, что маркиз де Ремюза состоял во враждебных отношениях с виконтом д'Аппасом,

который еще несколько лет тому назад обвинил маркиза в неподходящем для аристократии образе мыслей, и что с графом Огюстом Морни у Ремюза было несколько месяцев тому назад сильное столкновение на почве любовного соперничества, и это привело ко взаимному оскорблению и вызову на дуэль. Однако дуэль была предупреждена вмешательством шевалье де Броншара, друга детства маркиза де Ремюза, к слову сказать, единственного, с кем из всех обвиняемых поддерживал отношения последний. Впрочем, дуэль была лишь отложена на неопределенное время, и в этом-то и заключается главная улика против упомянутого Ремюза: будучи спрошен о причинах отсрочки дуэли, последний ответил, что противники признали настоящее время неподходящим для сведения личных счетов, и оно отложено до лучших времен. Де Ремюза не мог объяснить, чем недостаточно хорошо для него настоящее время и на какое лучшее он надеется!»

Волнение, луч растроганности, выражение участия — все сбежало с лица Робеспьера, когда он прочел последние строки доклада. Взор диктатора загорелся суровым фанатическим огоньком, лицо сразу застыло, окаменело. С силой хлопнув ладонью по докладу, Робеспьер сказал ледяным тоном:

— Довольно сентиментальностей! Улика ясна и очевидна. То, что проповедовал Ремюза пять лет тому назад, было или лицемерием или болтовней, иными

назад, было или лицемерием, или болтовней юноши, в котором хищные кастовые интересы еще не убили юного стремления к правде. Теперь Ремюза созрел, торжество народовластия внушает опасения, гибель членов касты пугает его. И вот он уже забыл бред юности и мечтает о наступлении лучшего времени, то есть о возрождении тирании, под крылышком которой так легко живется всем ему подобным! Существование таких Ремюза — залог величайшей опасности для свободной Франции. Смерть ему! Смерть всем, в ком коренится хоть крупица смерти и тления для свободного духа!

Твердую рукою Робеспьер взялся за перо и энергично макнул его в чернильницу. Вдруг громкое чириканье отвлекло его внимание. Робеспьер обернулся: на подоконнике в забавно горделивой позе уселся толстый воробей, задорно таращивший черные глазенки. Лицо Робеспьера осветилось слабой улыбкой. Вдруг он с испугом бросил перо и сказал с глубокой тревогой:

— Бог мой! Я совсем забыл про канарейку! Ведь бедняжка без воды и корма! — и кровожадный, безжалостный диктатор, целыми партиями отправлявший людей на эшафот на основании одних необоснованных подозрений, бросил все дела и торопливо вышел из комнаты, чтобы не причинить страданий слабой пичужке.

# Террор и революция

Все это происходило в первый месяц страшной эпохи террора, когда по всей Франции шла разнузданная вакханалия кровавого пира. Впрочем, ввиду того, что различные исторические писатели относят начало террора к разным моментам, мы принуждены пояснить, что это было в сентябре 1793 года.

Действительно, в то время как одни считают началом террора 5 сентября, другие утверждают, что эпоха террора началась с 14 июля 1789 года (день падения Бастилии), третьи же относят возникновение террора к 20 июня 1792 года, считая, что сентябрьские убийства уже были его полным воплощением, а четвертые считают эту эпоху от дня изгнания жирондистов монтаньярами, то есть от 31 мая 1793 года.

Подобное разногласие проистекает от разницы в понятии самого слова «террор», которое, исходя от французского «*terreur*», означает «страх», «ужас». При этом одни говорят, что *страх*, испытанный парижанами при известии о движении прусской армии на Париж, послужил причиной проявленной ими жестокости в сентябрьских убийствах; поэтому эпохой террора надо считать такое время, когда народ под действием испытываемого страха теряет меру добра и зла. Другие же утверждают, что террор — понятие чисто административно-правовое, а уж никак не медицинское.

административно-правовое, а уж никак не медицинское. Это – система управления, при которой порядок и повиновение поддерживаются чувством страха. Словом, уже в основе этого спора заложено противопоставление страха, испытываемого кем-либо, страху, кем-либо нагоняемому<sup>[2]</sup>. Но, выясняя эту разницу понятий, мы были принуждены перечислить столько различных дат и терминов, что само объяснение останется неполным, если мы не коснемся общей истории всех этих событий. Если весь ход Великой французской революции ясно и свежо стоит перед глазами читателей, мы покорнейше просим их попросту перевернуть страницы этой главы и прямо перейти к четвертой. Но читателю, который чувствует себя не очень твердым в истории этой эпохи, мы настоятельно советуем не пропускать этих строк: без них многое в дальнейшем течении нашего повествования покажется непонятным. Мы же постараемся быть возможно краткими.

Отчаявшись выйти из затруднительного финансового положения, грозившего полным банкротством, Людовик XVI созвал в 1789 году генеральные штаты. Это собрание представителей всего государства созывалось и прежде (первые генеральные штаты собрались в 1302 году), но роль так называемого «третьего сословия», то есть лиц непривилегированных – мещан, купцов и крестьян, была там самая незначительная. Теперь времена переменились, и

депутаты третьего сословия потребовали равноправия. Когда первые недели прошли лишь в бесконечных пререканиях о правах третьего сословия, последнее увидело себя вынужденным прийти к важному решению. А именно – третье сословие 17 июня 1789 года объявило себя национальным собранием. Король не хотел примириться с захватом депутатами таких прав и потребовал, чтобы они разошлись, но члены национального собрания принесли клятву не расходиться и отказались повиноваться. Король, инспирируемый тайным придворным комитетом, душою которого была королева Мария Антуанетта, для видимости покорился, однако сам стал стягивать к Парижу наемные иностранные полки. Депутаты видели, что придворная партия замышляет кровавыми репрессиями подавить проснувшееся народное самосознание, и потребовали от короля, чтобы он отозвал иностранные войска. В то же время они переименовали национальное собрание в учредительное.

Высокомерный ответ короля на требование народа и роспуск министерства Неккера, благожелательного к собранию, вызвал сильное возмущение среди парижан. Начались стычки с королевскими войсками, народ вооружился и 15 июля 1789 года кинулся на Бастилию – тюрьму для государственных преступников, которая была фактическим олицетворением произвола прежнего

режима. Весть о падении этой крепости как громом поразила двор. Король явился без всякой стражи в учредительное собрание и уверил депутатов, что отнюдь не покушается на их права и составляет одно целое с нацией.

Был ли он искренен тогда? Весьма возможно, что да. Но Людовик XVI легко поддавался чужому влиянию, отличался неустойчивостью, а придворная партия имела слишком хорошего представителя своих интересов в лице королевы Марии Антуанетты, которую король очень любил. Мария Антуанетта стала злым гением короля, всей королевской семьи и самой себя. Колеблясь между нацией в лице собрания и придворной партией, Людовик выказал такую нерешительность, вел себя так двусмысленно, что нация имела полное право отказать ему в доверии. Это было тем ужаснее для самой идеи монархической власти, что движение, выразившееся во взятии Бастилии, перекинулось на провинцию и распространилось далеко вглубь страны. Таким образом скоро король остался совершенно без опоры, а королева и придворная партия слепо вели к сопротивлению нации, то есть — к своей гибели.

А в Париже начался голод, этот могущественнейший союзник всех революций и переворотов. Голодающий народ, раздраженный пирушками короля в Версале, произвел несколько нападений на дворец и в конце концов короля чуть не

пападешии на дворец, и в конце концов король чуть не силой перевезли из Версаля в Тюильри. До 1791 года королевская семья играла комедию, притворяясь, будто новый порядок вещей признан ею. Но в июне 1791 года Людовик тайно покинул Париж, собираясь при помощи брата королевы, императора Леопольда II, начать восстановление старого порядка с границы. Однако в Варенне короля опознали и вернули в Париж. Там он был взят «под надзор нации», то есть арестован, и был вынужден присягнуть новой конституции.

Теперь участь Людовика XVI казалась уже предрешенной, его роль низвелась до полного ничтожества. Фактически главой государства стало национальное собрание, переименованное сначала в законодательное собрание, а потом – в национальный конвент.

В собрании к этому времени уже определились партии. Крайнюю правую занимали фельяны (конституционные монархисты), левую – жирондисты и монтаньяры. «Жиронда», получившая свое название от департамента, депутаты которой играли главную роль в этой партии, состояла из людей очень талантливых, работоспособных и образованных, но умеренных. Эта умеренность и была впоследствии причиной их падения. Монтаньяры, то есть «горцы», получили свое название от того, что занимали самые высокие скамейки в собрании. Это была партия непримиримо-крайних;



достаточно сказать, что из ее рядов раздались призывы к террору и вышли самые кровожадные террористы. Кроме этих партий, была еще «равнина». Это была инертная, трусливая масса, которая шла то влево, то вправо, смотря по тому, кто сумел повести ее за собою. Сначала «равнина» (или «болото») помогла «жиронде» занять в конвенте господствующее положение, затем помогла «горе» низвергнуть «жиронду». Когда «гора» раскололась на партии Эбера и Дантона (этих партий в сущности было очень много), «равнина» помогла Робеспьеру уничтожить враждебные партии, и она же помогла свергнуть самого Робеспьера.

Кроме всех этих элементов необходимо назвать еще клубы и коммуну.

Из клубов главную роль играл якобинский, члены которого собирались в прежнем монастыре якобинцев. Это были самые крайние, самые нетерпимые фанатики террора. Клуб якобинцев играл такую важную роль, что члены его, как, например, Дантон и Марат до избрания в конвент, не будучи членами правительства, играли, однако, первую скрипку в актах правительственной власти. Что касается коммуны, то это был общинный муниципалитет города Парижа, сменивший королевский муниципалитет прежнего режима.

Итак, короля заставили присягнуть конституции, но в то же время Людовик известил государей других стран, что его согласие было лишь вынужденным.

Австрия и Пруссия приняли тогда вызывающий тон по отношению к революционному правительству Франции, к тому же король снова начал настаивать на своих монарших прерогативах, и в результате, после народного восстания 10 августа, законодательное собрание взяло короля под стражу и объявило его лишенным власти. В то же время агенты законодательного собрания стали, по настоянию Дантона, хватать без разбора всех «подозрительных», не давая пощады даже женщинам, старикам и детям. Все арестованные содержались в ужасающих условиях в переполненных тюрьмах, но скоро наступило очищение мест заключений: узнав, что иностранная армия двинулась на Париж, население пришло в такую ярость, что стало врываться в тюрьмы и избивать заключенных — даже детей и старцев. Это и были знаменитые своею беспощадностью «сентябрьские убийства».

Но Франция реагировала на вражеское нашествие не только этими позорными убийствами. Весть о вторжении врага вызвала бурный взрыв патриотизма, для пополнения армии отовсюду стали стекаться толпы волонтеров. Нашлись и талантливые полководцы. И вот 20 сентября в битве при Вальми генерал Дюмурье смял пруссаков и сам перешел в наступление. Вообще революционная армия оказалась на очень большой высоте, что легко можно объяснить: ведь каждый солдат знал, во имя чего и за что он жертвует жизнью!

21 сентября открыл свои заседания национальный конвент. Теперь фельянов уже вовсе не было, крайними правыми оказались жирондисты.

В сущности и жирондисты, и монтаньяры (якобинцы) одинаково были ярыми республиканцами и демократами. Но они расходились во взглядах на внутреннюю политику момента. Жирондисты протестовали против насилий народных масс, а монтаньяры возводили эти насилия в государственную систему. Кроме того, между ними лежала еще личная антипатия: большинство жиронды страстно ненавидело Дантона, игравшего в то время главную роль. Между тем Дантон неоднократно искал сближения и примирения с жирондой, и удайся это, Франция была бы избавлена от террора. Но соглашения не состоялось, это погубило сначала жиронду, а потом и Дантона.

Под влиянием успехов французской армии монтаньяры подняли вопрос об объявлении Франции республикой и о суде над королем как над изменником нации. Это было в ноябре 1792 года. С этого времени началось усиление Робеспьера и его партии. В заседании 13 ноября Сен-Жюст, друг и правая рука Робеспьера, произнес сильную речь, требуя не суда, а осуждения короля. 3 декабря на ту же тему говорил Робеспьер. Он доказывал, что король – не обвиняемый, а конвент – не судьи. «Вам предстоит не высказываться

за или против известного человека, но принять меру, необходимую для общественного спасения».

11 декабря 1792 года Людовик предстал перед конвентом, 15 января 1793 года началось поименное голосование о его виновности, 19-го выяснилось, что большинство высказалось за казнь короля, 20-го было решено, что эта казнь должна состояться без всяких проволочек, и 21 января 1793 года, в 10 часов 22 минуты утра, Людовик XVI был обезглавлен.

Жиронда сделала все возможное, чтобы спасти жизнь королю, так как, по их мнению, его казнь была политической ошибкой. Вообще жирондисты были очень озабочены тем, что Францию все более и более увлекают на путь жестокостей и насилия, далеко не оправдываемых обстоятельствами, но нужных вожакам якобинцев для личных целей. Действительно вся масса якобинцев состояла из очень немногих честных, искренне заблуждавшихся людей, каковым был, например, Робеспьер, и подавляющего числа развращенных негодяев. Для последних террор был средством наживы и сведения личных счетов. Вламываясь под предлогом политического списка в дома богатых, эти господа крали там деньги и драгоценности. Крупные состояния Тальена («короля воров»), Фуше (министра полиции при Наполеоне), Ровера, Барраса, Мерлена, Ревбея и многих других были составлены именно из награбленных ценностей.

Кроме того эти негодяи, пользуясь своим званием комиссаров конвента, производили так называемые «реквизиции». Право реквизиции позволило комиссарам требовать в исключительных случаях от граждан того или иного города лошадей, оружия, фуража, съестных припасов и т. п. для нужд национальной армии. Но как понимали комиссары свое право, свидетельствует, например, следующее: Фуше потребовал, чтобы ему доставили 60 фунтов кофе, 150 аршин муслина, 3 дюжины шелковых галстуков, 3 дюжины перчаток, 4 дюжины шелковых носков и т. п.

Жиронда, эта партия истинных государственных людей, болела душою, видя, на какой гибельный путь вступает Франция. Она пыталась внести больше законности в жизнь страны, старалась добиться таких гарантий для личности гражданина, которые были бы достойны истинно республиканских идей. Но это шло вразрез с политической идеологией якобинцев. С этого момента, то есть со дня казни короля, история французской революции представляется нам историей борьбы якобинцев за власть, историей возвышения Робеспьера и низвержения им своих политических врагов.

Март 1793 года дал якобинцам хорошее оружие для этого. В Вандее вспыхнуло сильное роялистское движение, признаки которого появились еще с августа 1792 года, и мятежники-шюаны (как называли

вандейских роялистов), действуя партизанскими отрядами, наделали много хлопот республиканцам. В этом же месяце генерал Дюмурье изменил республике, пытаясь возмутить армию, и когда это не удалось, бежал за границу. Причина измены Дюмурье заключалась в том, что он тоже не мог примириться с ростом насилий и беззакония. Но его измена лишь вызвала усиление того и другого. Дюмурье был ставленником жиронды, и якобинские газеты подняли шум о «великой измене жирондистского генерала». Этим стали готовить раздражение населения против жирондистов.

Контрреволюционное движение в Вандее и измена Дюмурье дали монтаньярам основание требовать в конвенте усиления репрессий. 10 марта был учрежден революционный трибунал – страшное судилище, на решения которого не было апелляции. От 18 до 28 марта конвент выпустил ряд декретов против контрреволюционеров, об обезоруживании дворян и духовных лиц, об изгнании на вечные времена всех эмигрантов и смертной казни тех из них, которые осмелятся вернуться во Францию, об учреждении общинных революционных комитетов для надзора за подозрительными и многое другое. 6 апреля конвент организовал комитеты общественного спасения (административный орган) и общественной безопасности (полицейско-сыскной орган).

В течение апреля революционные внутренние комитеты

В течение апреля замечались внутреннее усиление жиронды и ухудшение дел на границе (успехи австрийцев против республиканских войск) и в Вандее. Якобинцы искусно воспользовались тем и другим, и 31 мая состоялся переворот, о котором мы уже упоминали в предисловии: под пушками канониров генерала Анрио конвент санкционировал исключение жирондистских депутатов.

Теперь в конвенте правящей партией стали монтаньяры и их вождь — Дантон. В это время внешние дела Франции ухудшились, враг вторгся во французские пределы, роялисты в Вандее наносили поражение за поражением республиканцам. К тому же 13 июля экзальтированная девушка Шарлотта Кордэ убила Марата, знаменитого демагога, редактора кровожадной газеты «Друг Народа», вдохновителя сентябрьских убийств. Все это служило важным аргументом в устах сторонников крайних мер и ускоряло приближение террора. Действительно кровавые декреты стали сыпаться, словно из рога изобилия, особенно после того, как (27 июля) в комитет общественного спасения вступил Робеспьер. На одном только заседании 1 августа были декретированы: смертная казнь скупщикам, конфискация имущества лиц вне закона, предание суду королевы, разрушение места погребения королей (в Сен-Дени), установление принудительного курса бумажных денег, предание огню и мечу Вандеи и т. п.

Одновременно с этим революционный трибунал все усиливал и усиливал свою деятельность. Но Робеспьеру, занявшему к августу преобладающее положение в комитете и успевшему повсюду просунуть преданных ему лиц, деятельность революционного трибунала казалась слишком медлительной. Трибунал был сначала удвоен, потом учетверен, а вскоре присяжным было дано право заявлять, что дальнейшие прения не нужны, так как они достаточно ознакомились с делом и могут безотлагательно вынести решение. Этим путем у обвиняемого, казнь которого была предreshена, отнималась возможность доказательства своей невиновности.

Конечно, такая система управления уже вполне подходила под понятие «террора». Правительство не видело возможности поддерживать порядок путем проведения во всем строго правовых норм и стремилось запугать население. Но все же до поры до времени официально за террористическими мерами признавали лишь временный характер. Террор, как цельное понятие, как сущность идеологии государственного управления, даже как самое слово, впервые откровенно появилось на заседании 5 сентября 1793 года.

К этому времени нужда в Париже достигла своей высшей степени. Заработки рабочих упали, цена на хлеб поднялась до пределов полной нелепости. На этой почве 4 сентября разразился голодный бунт, а 5-го толпа



ворвалась на заседание конвента, требуя установления предельных цен на съестные припасы и смерти скупщикам. Тогда Дантон произнес эффектную речь, в которой поддержал все революционные требования народа. Напрасно немногие благоразумные члены конвента старались сдержать расхаживавшие страсти. Монтаньяр Друе прямо воскликнул: «Так как ни добродетель, ни умеренность, ни философские идеи наши ровно ни к чему не послужили, то будем разбойниками для блага народа». Тут же был принят ряд террористических мер, среди которых выделяется предоставление права участковым революционным комитетам арестовывать и держать под стражей всякого подозрительного человека, другим же выдавать по своему усмотрению свидетельства о благонадежности. В заключение Барэр де Вьезак, этот истинный «Анакреон гильотины», воскликнул:

– Поставим террор на очередь дня!

И действительно, с тех пор террор был поставлен «на очередь дня». Ряд дальнейших мер ярко доказывает это. Мы только что упоминали о предоставлении революционным комитетам права ареста «подозрительных». Для того, чтобы точнее определить, кого считать подозрительными, был издан закон 17 сентября 1793 года, который гласил, что подозрительным признается не только тот, кто показал себя приверженцем королевской власти, но и тот, кто не

соя приверженцем королевской власти, но и тот, кто не может доказать, что он надлежащим образом выполнил свои гражданские обязанности и обнаружил приверженность к республике. На основании этого закона были арестованы те десять аристократов, процесс которых так взволновал Робеспьера в утро, когда началось наше повествование.

## IV

### Люси Ренар

Заботливо снабдив весело чирикавшую канарейку водой и кормом, Робеспьер повернулся, чтобы идти в кабинет, как вдруг до него из комнаты Люси донесся шум колес передвигаемого кресла. Быстро подойдя к комнате девушки, Робеспьер постучался и крикнул:

— Ты уже встала, птичка?

Ему ответил нежный голос, звучавший бесконечной грустью:

— Да... Войди, дядя Макс!

У Люси была прелестная большая комната с массой света и воздуха. Благодаря неправильной форме стен, в ней было очень много окон, выходивших в сад, куда вела также широкая дверь с просторным балконом.

Посредине комнаты от одной стены до перил балкона шла довольно толстая веревка с узлами. Подтягиваясь за эту веревку, Люси могла без

посторонней помощи подъезжать к окнам, к столикам с книгой или работой и выезжать на балкон. В этом кресле проходила вся жизнь несчастной. Утром к ней приходила Тереза Дюплэ, дочь квартирохозяина Робеспьера и страстная почитательница последнего. Тереза помогала Люси умыться, одевала ее, затем поднимала хрупкую, тщедушную девушку и сажала ее в кресло, где параличная и оставалась до вечера. Но Люси – кроткая, покорная, рассудительная – мирилась со своим несчастьем без озлобления и бурных протестов. Она говорила себе, что на свете существует много людей гораздо несчастнее ее, что нежная заботливость окружающих почти не дает ей чувствовать свою неполноценность, что очень много людей согласилось бы пожертвовать ногами, чтобы пользоваться таким удовольствием и ласкою, какие были у нее. И с утра до вечера слышался ее веселенький голосок, распевавший грациозные наивные песенки Нормандии.

Но в последнее время все чаще и чаще облачко грусти затемняло взгляд открытых, умных глаз девушки; в ее пении стало чувствоваться много тоски и внутренней скорби, сама она теряла прежнюю ровность и сдержанность характера. Девушку бесконечно угнетали потоки крови, не перестававшие литься по Франции, а еще больше мучило сознание, что это ужасное, ничем не оправдываемое положение вещей вдохновляется ее лялей. человеком. которого она ставила на голову выше

дяди, который, которого она ставила на голову выше всех остальных людей.

Робеспьер сразу заметил, что Люси находится в одном из обычных для последнего времени периодов тоски. Он озабоченно подбежал к Люси, склонился над нею, заглянул в ее отуманенные глазки и с глубокой сердечностью в голосе спросил:

— Что с тобою, птичка моя? Тебе нездоровится? Ты плохо спала? Или просто так взгрустнулось? Или у тебя что-нибудь болит?

Люси обвила его шею прозрачными, тонкими ручками, притянула к себе, поцеловала и ответила:

— Нет... ничего не болит, дядя Макс. Или, впрочем, душа болит... Тереза сказала мне, что сегодня состоится процесс десяти, что их участь решена... Господи, когда же кончится этот кошмар? Когда же станет свободной моя несчастная родина? Неужели народ сверг одного тирана только для того, чтобы взвалить себе на шею другого? Прежде дворянин вешал крестьянина только за то, что он — крестьянин, а теперь дворянина казнят лишь за то, что он — дворянин.

— Дитя, — сурово сказал Робеспьер, освобождаясь от нервных рук Люси, — сколько раз уже я просил тебя не заводить со мною разговора на эту тему! Ты знаешь, я не люблю говорить с тобою о государственных делах, потому что...

— Ну, да, — запальчиво перебила его девушка, —

потому что я — не переза Дюплэ, которая только таращит на тебя восторженные глаза и поддакивает каждому твоему слову, ловя его, словно божественное откровение! Всесильный Робеспьер не привык к критике и противоречиям, за малейшее возражение он посылает на плаху. Но передо мною он бессилен, я и без того казнена судьбой, и вот...

— Да, Люси, ты — не гражданка Дюплэ! Она — чужая мне и все-таки глубоко верит в меня, верит, что мои поступки подсказываются мне разумом. Я потому и люблю говорить с нею, что она слепо доверяет моему бескорыстию, широте и величию моих задач. А ты...

— Но ведь я бесконечно люблю и чту тебя, дядя Макс! Пойми, в моих глазах ты всегда был чрезвычайно высок. Я пророчила тебе блестящую будущность, жаждала для тебя широкой деятельности, чтобы ты мог проявить себя во всем размахе. И вот что же? Да ведь это — ужас один! Почему ты и твои единомышленники восстали против прежнего строя? Потому что его основой была несправедливость! На чем же вы хотите построить новый строй? На несправедливости! Мой разум отказывается понимать это! Каждый день над десятками людей проделывают комедию суда, чтобы потом по заранее предрешенному приговору отправить их на гильотину. Улики против них придумываются, защищаться им не дают... все из-за чего? Из-за того, что они родились в привилегированном сословии, что их

предки причинили много зла Франции... Знаешь, дядя Макс, говорят, будто собаки произошли от волков. Ну, так не перевешать ли всех собак за беды, которые причинили их предки?

Робеспьер отошел к окну и сумрачно смотрел в сад. Прошла минута неприятного молчания. Наконец он повернул к Люси окаменевшее лицо и спокойно сказал:

— Я потому и не люблю говорить с тобою обо всем этом, что твой разум не в состоянии понять меня: он недостаточно широк и свободен. Вы, женщины, ко всему прикидываете мерку чувства, я же не позволяю чувству брать верх над разумом. Но ты не понимаешь этого. Так к чему же мы будем продолжать разговор, который только мучает нас обоих? Смотри, ты опять разволновалась. Тебе вредно волнение, Люси! — Он помолчал и вдруг сказал, подхваченный волной острой горечи: — Да и вообще я не понимаю, тебе ли защищать этих господ? Не хищной ли разнузданности привилегированного класса обязана ты тем, что твоя молодая жизнь разбита в пору нежного расцвета?

— Дядя Макс, — робко и смущенно ответила Люси, потупив красивые, выразительные глаза, — среди этих десяти нет ни одного, кому я обязана своим несчастьем, но зато есть один, кому я обязана жизнью!

— И ты думаешь, что добрый поступок, сделанный гражданином Ремюза по отношению к частному лицу, уменьшает его вину перед народом?

— О, нет! Ведь его вина в том, что он — маркиз.

— Люси! — сказал Робеспьер, подходя к девушке, — боюсь, что в тебе говорит не только ложно понятое чувство справедливости, что благодарность к спасителю, пустившая более теплые ростки в твоём сердце, заставляет тебя особенно тревожиться за участь Ремюза. Да, в таком случае все мои доводы останутся напрасными. Мне не убедить тебя! Но во имя нашего прежнего понимания друг друга закликаю тебя: верь мне, что для меня моя безжалостность — только суровый, по временам чрезмерно трудный долг. О, как хотелось бы мне иметь право отдаваться чувствам! Но я не могу, не смею, не должен.

— Я верю тебе, дядя, — сердечно сказала Люси, тронутая глубокой скорбью, звучавшей в его последних словах. — Ты прав, не будем лучше говорить об этом!

И опять они замолчали, терзаемые духовным разладом, волнуемые родственной нежностью. Робеспьеру хотелось сказать Люси что-нибудь сглаживающее, примиряющее, ласковое, и нужные слова не шли на ум. Вдруг он обратил внимание на вышивку, пестрый конец которой высывался из объемистой рабочей корзины.

— Что это ты вышиваешь, Люси? — спросил он, нагибаясь к работе.

Люси порозовела, ее глаза загорелись светлой, чистой радостью.

чистой радостью.

— Помнишь, дядя Макс, — оживленно ответила она, — недели две тому назад ты рассказывал нам с Терезой о религии, алтарь которой тебе хотелось бы утвердить? О, это было так прекрасно, так прекрасно... как сказка, как светлый сон! У меня перед глазами вырисовался образ твоего Верховного Существа, бесконечно справедливого, мудрого и благостного... И мне представилось Оно, окруженное радостью бытия... Злой тигр смиренно склонил к его ногам свою голову, кроткая лань доверчиво приникла к Нему. А вокруг Него радостным роем танцуют пестрые бабочки, нарядные птицы, хрупкие мотыльки. И вот я подумала: почему мне не сделать вклада для твоего будущего храма? Почему не вышить покрыва на алтарь Верховному Существо и не изобразить на этом покрыве всего того, что представилось в этом видении? И вот я взялась за работу. Вот здесь, видишь, у меня бабочки... Они ведь удачно вышли, правда? А вот тигром я недовольна: шелк попался какой-то блеклый... Да вот посмотри... — Люси стала доставать работу из корзины, энергично перебирая ее складки, как вдруг из корзины вылетела потревоженная моль. — Боже мой, моль, моль! — крикнула девушка. — Убей ее, дядя Макс, она мне все перепортит... Да ну же...

В первый момент Робеспьер невольно взмахнул руками, чтобы прихлопнуть насекомое, но сейчас же его



руки опустились, и где-то в самой глубине взора блеснул ответ затаенной насмешки.

Люси продолжала волноваться, и даже ее лицо пошло пятнами.

— Да ну же! — с искренним огорчением кричала она, досадливо хлопая рукой по столику. — Ах, какой ты неловкий, дядя Макс! Теперь она улетела и где-нибудь спряталась! Не мог ты ее прихлопнуть!

— Видишь ли, Люси, — спокойно ответил Робеспьер, — я готов был прихлопнуть бедное насекомое, но вдруг мне пришло в голову, что это было бы несправедливо. Почему ты знаешь, что моль действительно принесла тебе какой-нибудь вред? Может быть, она просто присела отдохнуть на твоей работе? Нельзя же убивать, не имея доказательств вины!

Люси изумленно взглянула на дядю, не смеется ли он над нею. Но нет, его лицо оставалось совершенно серьезным.

— Час от часу не легче! — протянула девушка, широко разводя руками. — Да ты подумай, что ты только говоришь? Каких доказательств тебе еще надо? Разве ты не знаешь, что моль оставляет дырочки на ткани, и если ее не истреблять, то платье, белье, шерсть, даже бумага — все пойдет прахом?

— Я знаю, что моль вообще приносит вред. Но где у тебя доказательства, что именно эта самая что-нибудь тебе напортила? — серьезно спросил дядя.

— Да ведь, пока я буду отыскивать доказательства, моль улетит, и скоро у меня все будет изъедено! — воскликнула Люси. — Я просто понять не могу, что за дикие мысли приходят тебе в голову! Точно я наказываю моль, точно я — судья. Не успела напортить — тем лучше! Но истребить ее надо, чтобы она не могла напортить потом!

— Почему же тебе кажется диким, если я повторяю только то, что ты сама говорила перед этим? Защищая необходимость казни дворян, я рассуждал совершенно так же: пока народ будет искать доказательств, причинил ли какой-нибудь вред именно данный аристократ, эти паразиты разрушат всю ткань неокрепшей еще республики; народ довольствуется сознанием, что аристократы по своей природе вредны новому строю; народ — не судья, он не мстит и не наказывает, а только охраняет свою родину. Почему же в данном случае ты отвергаешь справедливость рассуждения, которым сама пользуешься в другом?

— Да ведь то — моль, насекомое, а то — человек!

— Дитя мое, поверь: личность в государстве — несравненно мельче, ничтожнее, чем моль в твоей комнате, да и кроме того целость и благо государства стоят дороже, чем твоя вышивка! Нет, Люси, все дело в том, что вы, женщины, не умеете быть логичными до конца. Чувства перевешивают у вас разум... Ну, так заканчивай свою предестинную вышивку, за которую от

докапчивая свою престольную вышивку, за которую от души благодарю тебя, и предоставь нам, мужчинам, заботу о высшей государственной справедливости!

Робеспьер поцеловал Люси и твердым шагом вышел из комнаты. Побледнев как смерть, молодая девушка безнадежно поникла головой.

## V

### Старые знакомые

Ветер шаловливо играл листьями доклада Фуке-Тенвиля, и Робеспьер, вернувшись к себе в кабинет, заметил теперь, что не дочитал его до конца: на обороте было еще примечание, ускользнувшее первоначально от внимания диктатора.

А в этом примечании Фуке сообщал нечто очень важное: в самую последнюю минуту гражданин Лебеф заявил ходатайство о разрешении ему защищать на суде обвиняемого Ремюза. По мнению обвинителя, участие Лебефа в процессе было настолько важно, что он даже предлагал выделить дело Ремюза из процесса десяти и судить сначала только первых девять. Ведь Лебеф отличается умением воздействовать на судей и присяжных, и сколько уже жертв ускользнуло от карающего меча республики благодаря его защите! Если бы дело касалось одного только Ремюза, то с этим еще можно было бы примириться. Но ведь Ремюза судят

совместно с остальными, и Лебеф естественно коснется также вопроса о виновности последних. А ведь и без того устои колеблются, и без того растут заговоры. Если карающий меч начнет дрожать в руках трибунала, противники республики поднимут головы, ободрятся... Только страхом, только суровыми мерами можно удержать кормило власти в руках народа. Вмешательство таких маньяков «божественной справедливости», как Лебеф, может лишь погубить еще неокрепшее, молодое народовластие.

Дочитав до конца, Робеспьер досадливо откинулся на спинку стула. Словно целый легион злых сил ополчился на него в последнее время! Все так ясно, так просто укладывалось мысленно по его системе, а жизнь, как назло, вечно приводила его на распутье, вечно ставила перед дилеммами. И особенно много сложного клубком свилось вокруг такого простого, такого ясного дела Ремюза!

Лебеф... Да, он пользуется влиянием, уважением и обаянием. Это делает его личность крайне опасной. Но в то же время он решительно отказывается от какой-либо роли, от какого-либо административного назначения. Значит, он не честолюбив, значит, он чуждается демагогии... значит, он безопасен! Но всей своей индивидуальностью Лебеф поставлен в полную оппозицию к той системе, которой одной только и доверяет он. Робеспьер. спасение Франции. Плавла.

Лебеф не произносит речей против существующего режима, не выступает в печати, не шепчется по углам. Но он и не скрывает своего неодобрения тому, что совершается, умеет придать своим выражениям вескость и основательность. Таких людей Робеспьер привык одним движением сметать со своего пути. По отношению к Лебефу эта необходимость еще увеличивается его учащающимися выступлениями в защиту врагов республики. Но... Ах, эти проклятые «но»! Сколько их живой колючей изгородью сплетается на твердом, неуклонном пути диктатора! Как «устранить» Лебефа, если он, несмотря на свою умеренность, пользуется всеобщим уважением, как патриот и честный человек, и если несмотря ни на что самого Робеспьера так неудержимо влечет к этому старику!

Робеспьер встал со стула и несколько раз прошелся по комнате, словно пытаясь убежать от натиска всех этих сомнений и дум. Но насыщенный заботами мозг упрямо продолжал работать далее. Как же быть с этим процессом и выступлением Лебефа? Не допускать его до защиты? Но на это нет формальных оснований. Сурово подтвердить судьям и присяжным, что они не имеют права задаваться вопросами формальной справедливости, что справедливость высшая требует осуждения и казни? Но защита Лебефа может поколебать

присяжных, увлечь на мгновение, а ведь одного мгновенья достаточно, чтобы отклонить меч правосудия! Конечно, Франция еще не пострадает от того, что какой-нибудь Ремюза и даже все десять обвиняемых окажутся на свободе. Зато пострадает принцип, система. Этого уже никак нельзя допустить, нельзя позволить, чтобы революционный трибунал стал алтарем формальной справедливости!

Но почему Лебеф взялся за защиту именно Ремюза, а не остальных обвиняемых? Какими данными располагает он для успеха? На чем хочет построить защиту?

Лицо Робеспьера просветлело: стоит только поговорить с самим Лебефом, получить от него ответы на эти вопросы, и тогда сразу будет видно, что следует предпринять. И, взяв шляпу, Робеспьер вышел из дома.

Пройдя грязными задворками, он остановился перед низеньким, мрачным, старым домиком, весь вид которого говорил о нищете и грязи. В его окнах виделись растерзанные женщины, переругивавшиеся с соседками, слышались детский плач, грязная ругань мужчин. Где-то, должно быть, дрались, и звон разбиваемой посуды смешивался с хриплыми проклятиями и глухим шумом борьбы тяжелых тел. Но из всего этого адского концерта звонко и отчетливо вырывался истерический женский визг, которому по временам вторил противный, удивительно цинический смешок.

Робеспьер брезгливо поморщился, взял горсть песка и кинул ее в окно полуподвального этажа, из которого доносилась ругань. Сейчас же вслед за этим окно распахнулось, и оттуда высунулась растрепанная женская голова.

Этой женщине было лет пятьдесят. Когда-то она, должно быть, отличалась выдающейся красотой и ее золотистые волосы до сих пор могли бы возбудить зависть любой красавицы, а жемчужно-белые зубы сверкали, как у пятнадцатилетней девочки. И теперь, приодетая, она могла бы произвести впечатление. Но волосы, давно немывтые, нечесанные, липкими прядями беспорядочно падали на лоб, щеки и разодранный ворот грязной ночной кофты, багровые пятна бешенства, покрывавшие лицо, старили и уродовали его, а налитые кровью светлые глаза нескромно выдавали, что, несмотря на ранний час, женщина уже была сильно под хмельком.

— Что за грязная каналья... — грозно начала она, готовясь обдать нарушителя покоя каскадом отборной ругани, но вдруг съежилась и испуганно открыла рот, узнав Робеспьера. — Боже мой! Гражданин Робеспьер! — залепетала она бесконечно противным, испуганно-льстивым тоном. — Могла ли я ожидать... Я...

— Гражданин Лебеф дома? — спросил Робеспьер, холодно обрывая извинения женщины. — Впрочем, что же и спрашивать, гражданка Гюс! — с бледной,

иронической усмешкою добавил он сейчас же. — Раз твой сладкий голосок разносится по всему околотку, значит, семейное счастье налицо!

— Но помилуй, гражданин Робеспьер, — ответила Аделаида Гюс, — этот святоша хоть кого из терпенья выведет! Как его еще в сумасшедший дом не упрятали! Виданное ли дело, что он затеял?.. Осмеливается выступать на защиту тех, кого признала виновными сама Великая республика, решается выгораживать подлых аристократов! Я ему уже давно добром твердила: «Лебеф, ты играешь в опасную игру!» А ему хоть бы что! И вот сегодня узнаю...

— В этом ты права, гражданка, Лебеф действительно играет в опасную игру! — ледяным тоном согласился Робеспьер. — Но какое дело тебе до этого? Разве женщина может оценивать поступки мужчины? Это — наше дело! Берегись, гражданка! Нехорошо, когда женщина слишком много занимается политикой! Вспомни Теруань де Мерикур и ее судьбу<sup>[3]</sup>... А с Лебефом поговорю я сам. Позови-ка мне его!

Сказав это, Робеспьер презрительно повернулся спиной к Адели и принялся задумчиво чертить что-то тросточкой на песке. Выражение дикого бешенства скользнуло по лицу Гюс. Скрипнув зубами, она погрозила кулаком всесильному диктатору и скрылась.

Через минуту из-за угла показался Лебеф. И для него



тоже время не прошло бесследно. Его волосы совершенно поседели, глубокие морщины избородили лицо, старя его лет на двадцать. Но держался он все еще прямо и бодро.

Робеспьер искоса взглянул на Лебефа и усмехнулся его бледности и подавленности. Но он ничего не сказал. Молча поздоровавшись с ним, Робеспьер повел его в сад.

Молча пошли они по дорожкам сада: один — молодой, но хилый, с нездоровым землистым лицом, с блуждающими глазами фанатика, другой — придавленный, но не согнутый бременем тяжелой судьбы и лет, с лицом, просветленным старческим опытом, с детски-чистым взором.

Сбивая тросточкой придорожные травинки, Робеспьер начал:

— Я узнал сегодня, что ты, гражданин Лебеф, берешь на себя защиту одного из обвиняемых «процесса десяти». Почему же ты, которого я справедливо считаю столь близким и родственным себе по духу и добродетели, должен вечно становиться мне на дороге в моих заботах о благе страны? Пойми меня, гражданин, если бы на твоем месте был кто-нибудь другой... о, я не стал бы тратить слова! Одно слово, одно движение руки! Но ты... ведь мы с тобою служим одному богу, мы поклоняемся одному алтарю... Почему же наши дороги сталкиваются, почему не идут они рядом?

— Нет, гражданин, — тихо и скорбно ответил Лебеф. — Не одному богу служим мы с тобою! Мой бог — право, законность, справедливость!

— Значит, по-твоему, действия революционного правительства лишены права, закона, справедливости?

— Ты сказал...

В глазах Робеспьера вспыхнул фанатический огонек, лицо исказила бледная, грустная усмешка.

— Право, закон, справедливость! — с задумчивой иронией повторил он. — Слова, слова и слова! Волк хочет есть и угаскивает единственную овцу у крестьянина, а крестьянин хочет есть и убивает волка, чтобы сохранить овцу. Кто прав из них? Оба, а значит — никто! Только необходимость может оправдывать, осмысливать поступок... Закон! Но если революционное правительство вынуждено быть более энергичным, более свободным в своих действиях и движениях, разве в силу этого оно становится менее справедливым и законным? Нет, гражданин, оно опирается на самый священный из законов — благо народа, и на самое неотъемлемое из всех прав — необходимость!

— И эту необходимость ты усматриваешь в гибели какого-нибудь Ремюза?

— Друг Лебеф, ты видишь личность там, где я вижу только принцип! Я говорю: закон необходимости приказывает очистить Францию от всякого элемента

опасности. Эту опасность я вижу в самой природе аристократа. Вот мой принцип! Будет ли казнено десять аристократов, девять или пятнадцать – не все ли равно для Франции? Но для Франции не все равно, если будет поколеблен самый принцип ее права руководствоваться лишь необходимостью! Для Франции не все равно, если такие мечтатели, как ты, совлекут ее с пути законной защиты на путь правовой щепетильности! Тебе кажется ужасным, если среди многих виновных случайно пострадает невинный. Ну, а для меня... Да, если бы половине населения Франции надо было погибнуть, чтобы остальная половина могла быть счастлива, если бы я сам был в числе первой половины, я, не колеблясь ни минуты, подписал бы приговор этим миллионам невинных людей и первый бестрепетно повел бы их на казнь!

– А я... – грустно возразил Лебеф. – Если бы для счастья всей Франции нужно было казнить десятерых и если бы смерть их зависела не от их доброй воли, а от моего приговора, – я отказался бы подписать такой приговор и сказал бы всей Франции: «Вы не имеете права на счастье, если оно зиждется на гибели невинных!» Но к чему мы будем говорить о вещах, в которых никогда не могли сойтись, в которых никогда не сойдемся? Ты прав, гражданин, нас с тобою многое связывает, у нас много общего – хотя бы в том, что оба мы не прощаем никому ни одного из этих... Но кому кому

мы не преследуем никаких личных целей. Но наши пути различны, нам их не сблизить, не объединить... Зачем же столько слов? Участь Ремюза предрешена тобою, я вижу это. Может быть, ты даже запретишь мне выступать с защитой? Что же, там, где справедливость, право и закон заменяются одним словом «необходимость», это будет понятно и логично...

Лебеф замолчал, грустно поникнув головой. Молчал и Робеспьер, нахмуренный лоб которого отражал напряженную работу мозга. Наконец он сказал:

– Я ничего не предрешил. Но ответь мне сначала на несколько вопросов. Почему именно ты взялся за защиту Ремюза?

– Меня просил об этом аббат Жером.

– Ага! Под ризой монаха сказалась кровь маркиза де Суврэ<sup>[4]</sup>! Видно, свой своему поневоле брат!

– Полно, гражданин, разве ты не знаешь, что отец Жером совершенно порвал с аристократическими кругами и всецело посвятил себя народу? И разве он не одним из первых принес гражданскую присягу?

– Что же заставило его ходатайствовать за Ремюза?

– Отец Жером сказал мне, что, казнив Ремюза, республика потеряет одного из тех людей, которые как раз нужны для ее блага и процветания.

– Вот как? Громко сказано!.. Но к этому мы еще вернемся, а теперь объясни мне вот что: почему же ты из всех обвиняемых защищаешь одного только Ремюза? Его

ты считаешь невинным. Значит, в виновности остальных ты уверен?

— К чему употреблять выражение, от которого ты сам открепишься, гражданин? Что значат виновность или невинность? Сам же ты сказал, что волк не виноват, если, подчиняясь своей природе, тащит овцу у бедного крестьянина. Аристократ, защищая дело роялизма из убеждения, поступает доблестно и честно. Но его интересы противоположны интересам народа, и народ ограждает себя, устраняя его.

— Я понимаю виновность как вред государству!

— Ну, так из всех обвиняемых трое сознались, четверо скомпрометированы, хотя их вредоносность отнюдь не доказана. А двоих — Лион д'Анжера и Нивернэ — обвиняют лишь в том, что они аплодировали на представлении пьесы «Адель де Саси». Да ведь актриса, игравшая главную роль, подруга сердца Нивернэ, а д'Анжер хлопал, чтобы поддержать приятельницу друга! И подумать только, что обоих этих молокососов, которые так же мало заботятся о роялизме, как и о народоправии, для которых вся жизнь заключается в попойках, вине и картах, обвиняют в каких-то замыслах против идеи, которая их не трогает! Все это было бы очевидно для всякого суда, но только не для революционного. Для ваших судей мало доказательств, что обвиняемый не был плохим патриотом. а необходимо еще доказать, что он был

хорошим. Троицким первым моя защита не нужна: их вина очевидна. Шестерых других я мог бы защитить в приписываемых им дурных намерениях, но не мог бы доказать, что у них были хорошие. Им я все равно не помог бы, только общая защита могла бы скомпрометировать последнего – Ремюза.

– Значит, у тебя имеются доказательства, что Ремюза добрый патриот?

– Да, гражданин!

– Вот как? Какие же?

– Ремюза отказался от дуэли с Морни потому, что считал свою жизнь принадлежащей отечеству. Как раз в момент ареста он писал заявление о желании поступить в национальную армию, но комиссар Крюцю, арестовавший его, почему-то скрыл этот факт. Затем, помнишь ли, гражданин, брошюру «О задачах конституционного и революционного режимов»?

– Подписанную «гражданин Азюмер»? Еще бы! Я был поражен сходством мыслей этого Азюмера со своими собственными и чрезвычайно жалел, что не мог дознаться, какой добрый патриот скрывается под этим именем!

– Ну так прочти его наоборот, и тебе станет ясным, что Азюмер, это – Ремюза!

Робеспьер резко остановился и от волнения даже схватил Лебефа за руку.

Минутная пауза. — — — — —

— Может ли это быть? — прооромотал он. — Так это — Ремюза? «Задача конституционного правления — сохранить республику, задача революционного — создать ее. Можно ли охранять то, что еще не окончено созиданием? Можно ли требовать конституционных гарантий от революции?» А дальше! «Революция — война свободы против тирании и рабства; конституция — режим победоносной свободы. Лицемеры! Можно ли испечь хлеб, не размолот зерна? Вы же требуете хлеба и негодуете, когда мелют муку!» Но ведь это — мои мысли, Лебеф, мои собственные, кровью мозга выношенные мысли! И этого-то человека... Иди, Лебеф, иди! Иди, и да благословит тебя Высшее Существо!

— Значит, ты ничего не имеешь против моей защиты, гражданин? — спросил обрадованный Лебеф.

Лицо Робеспьера стало ласковым, просветленным, пронизанным детской чистотой. С бесконечно милой улыбкой он ответил:

— Позволяю тебе не только защищать, но и защитить Ремюза! И не бойся ничего: я успею сказать словечко-другое президенту Герману и присяжным! Ступай, не заботься ни о чем! О, Высший Разум, правящий миром! Неисповедимы пути Твои, которыми приводишь Ты нас к познанию истины!

Робеспьер простер вперед руки и замер в позе верховного жреца, в горячем молении слившегося со своим божеством. Лебеф радостно пошел домой. На

повороте он обернулся и еще раз посмотрел на диктатора. Из-за потускневшей зелени кустов виднелась тонкая, высокая фигура Робеспьера. В восторженном порыве по-прежнему простерты были вверх его безмускульные руки, глаза невидящим взором устремлялись к небу. Солнце, пробиваясь сквозь листву тополей, кидало на его лицо золотистые кружки и сверкающим сиянием играло в волосах. И весь он был какой-то необыкновенный, особенный, неземной.

– Станный человек! – пробормотал Лебеф. – Что же такое – добро и зло? Боже, просвети меня! Детски незлобива душа Робеспьера, жестоки поступки его. Жаждой добра и справедливости горит его мозг, деянья его – гибель и несправедливость. Из одного блага соткан он. Как же могло благо породить вопиющее зло? Но ведь и мир был создан совершенным. Или и в самом деле зло – тот огонь, который необходим для очищения добра? Как постигнуть пути Твои, Господи?

Лебеф даже остановился, лихорадочно обьятый неразрешимостью этих мучительных вопросов. Но тут же в его сознании радостно мелькнула мысль о спасении Ремюза, и эта мысль перевесила в нем все остальное. Бодрым шагом поспешил он к себе домой.

Адель и друг ее сердца – агент Жозеф Крюшо – все еще сидели в первой комнате за бутылкой вина. Они о чем-то горячо беседовали, но при входе Лебефа на полуслове оборвали разговор.



— Ну-с? — с иронией спросила Адель. — Ты не будешь защищать аристократа?

— Буду, — лаконично ответил Гаспар, проходя к себе в каморку.

— Негодяй! — бешено крикнула Адель и сделала движение, чтобы вскочить и броситься за Лебефом, но Жозеф удержал ее за руку и сказал:

— Оставь! Ты со своей крикливостью только без толку наводишь на подозрения, а ведь, знаешь ли, самое скверное, когда начнут копать да докапываться... Что может значить какой-нибудь Лебеф в хитро налаженной механике национального правосудия? Разве защитительная речь Десежа была плоха, разве не сумел он растрогать и взволновать всех слушателей? Ну и что же? Разве это помешало казнить короля? Полно, друг мой, защита — такая же комедия, как и весь наш суд!

— Но удалось же Гаспару отстоять подряд добрый десяток обвиняемых!

— Да, но каких обвиняемых! Все это были жалкие забитые парни, не имевшие ни характера, ни ума, ни энергии, они были ровно никому не опасны, а так как у них не было никакого состояния, то их смерть была бы абсолютно бесполезна. Ремюза... Не забудь, что он очень богат. Помнишь речь Камбона, которому мы так аплодировали? «Хотите покрыть несчетные расходы на ваши четырнадцать армий? — гильотинируйте! Хотите

ПОСЛЕДНИЙ ПОДЪЕМ ПОСЛЕДНИЙ ПОДЪЕМ ПОСЛЕДНИЙ ПОДЪЕМ

погасить ваши неисчислимы долги! —  
гильотинируйте!» Да-с, друг мой, если в наше время  
человека обвиняют в таких тяжких преступлениях, как  
аристократическое происхождение и богатство, то  
какому-нибудь Лебефу трудно подыскать  
оправдательные мотивы! Все дело в том, что решил  
Робеспьер.

— Но я именно и боюсь, что чувство благодарности  
перевесит в нем...

— Чувство благодарности? — перебил свою подругу  
Крюшю, расхохотавшись с таким видом, будто она  
сказала что-то очень остроумное. — Ну, знаешь ли, наш  
Максимилиан Великий не страдает этим недостатком!  
Уж не из чувства ли благодарности он держит столько  
времени в тюрьме человека, против которого...  
словом... Ну, да мы одни с тобою, а ты ведь не хуже  
меня знаешь, что против Ремюза нет ни малейших улик!  
И несмотря на это, Робеспьер палец о палец не ударил  
для него! Нет, я скорее думаю, что Робеспьер не может  
простить Ремюза ту услугу, которую оказал ему этот  
дворянчик!

— Значит, ты думаешь, что с ним кончено?

— И это тоже трудно заранее решить. Повторяю тебе:  
все зависит от того, к чему придет Робеспьер. Во всяком  
случае было бы гораздо лучше, если бы его убрали.  
Конечно, как я тебе только что говорил, нужно особое  
совпадение обстоятельств, чтобы мы столкнулись все

вместе, потому что помнит меня в лицо только девчонка, а она, слава Богу, прикована к креслу. Но... как знать! Во всяком случае у меня свалится с сердца большая тяжесть, когда голова этого молодчика скатится с плеч... Однако нам пора в суд! По крайней мере, мы сразу узнаем, как обстоит дело! Одевайся-ка да пойдем!

— Ладно! — ответила Адель и, не стесняясь присутствием Жозефа, принялась тут же приводить в порядок свой туалет.

## VI

### Первые тучки

И процесс, и приговор по «делу десяти» вполне удовлетворили слушателей, в изобилии набившихся в зал суда. Еще бы — семерых приговорили к смертной казни, двоих — к вечному изгнанию и конфискации их имущества. А какое наслаждение было слушать сильную и страстную речь Фукье-Тенвиля, каждое слово которого казалось ударом молота, вгоняющего новый гвоздь в гроб обвиняемых!

Даже полное оправдание последнего из обвиняемых — Ремюза — отнюдь не испортило общего впечатления. Оправдание одного придавало особый ореол осуждению девяти, как бы оправдывало справедливость последнего. Кроме того, Ремюза сразу завоевал симпатии как выгодной наружностью, так и

завоевал симпатии, как выродком паружностью, так и удивительно благородной манерой держать себя на суде, манерой, в которой сказывались и прирожденное достоинство, и глубокое уважение к суду. Да и прекрасная речь Лебефа, легкость, с которой он разбивал все доводы обвинения, восхищали слушателей. И когда в пылу прений рассерженный Фукье воскликнул, что защита аристократа есть уже прямая измена народу, так как народ не может и не должен прощать происхождение от ряда угнетателей, какой гром аплодисментов покрыл ответ Лебефа:

– Высшая измена народу, это – клевета на него! А гражданин-обвинитель клеветает на великий французский народ, приписывая ему чувства мелкой и злобной мстительности. Он клеветает и на высокий трибунал, перед которым мы находимся, предполагая, что это – орган мести, а не справедливости! Так я ли совершаю измену своему народу, указывая на опасность пути, по которому пошел гражданин-обвинитель?

Только двое слушателей были явно не удовлетворены исходом процесса, и во взгляде, которым они обменялись после произнесения приговора, чувствовались испуг и раздражение. Это были Адель и Крюшо.

– Ну погоди же ты у меня! – злобно прошептала Адель, угрюмо посматривая в сторону скамьи подсудимых, где Ремюза радостно пожимал руки своему

защитнику. — Будешь ты у меня помнить, как устраивать такие гадости! Я тебе покажу...

— Да будет тебе глупости молоть! — раздраженно перебил ее Крюшо, сильно дернув за рукав. — Уж ты и в самом деле готова верить, что оправдание Ремюза — следствие талантливой защиты? Смех, да и только! Твой Лебеф — такая же марионетка, как и все эти строгие судьи и присяжные! Подумать только — троих защитников председатель подряд лишил слова, а этому молодчику дал выболтаться до конца... Смотри, смотри! — с испугом шепнул он вдруг, растерянно впиваясь взглядом туда, где стояли Ремюза и Лебеф.

Адель взглянула и так стиснула пальцы, что кости звонко захрустели. Действительно к Ремюза с приветливой улыбкой шел Робеспьер. Вот он подошел к нему, горячо пожал руку и стал говорить что-то, потом похлопывал за плечи Лебефа, после чего все они стали пожимать друг другу руки.

— Жозеф! — с ужасом прошептала Адель.

— Да, вот где опасность... — начал было Крюшо, но вдруг сразу его голос пресекся: под влиянием его пристального взгляда Ремюза обернулся и сказал что-то Робеспьеру, который тоже обернулся и пристально посмотрел на агента.

— Пойдем отсюда, — шепнул Крюшо вставая, — и помни: ни слова упрека Лебефу! Все дело повернулось в самую скверную сторону... У них явились подозрения...

Будь приветлива и мила с Лебефом, наговори ему комплиментов по поводу его защитительной речи. Это собьет их с толка... Иначе беда!.. А, гражданин Дюран! – приветливо заговорил он, кланяясь высокому, толстому мяснику, проталкивавшемуся мимо них к выходу. – И вы тоже здесь? Не правда ли, как возвышает и облагораживает душу созерцание этого нелицемерного народного судилища?

– Истинно так, гражданин комиссар! – ответил толстяк, с силой потрясая своей огромной мохнатой лапицей тонкую, жилистую руку Крюцю. – Мое почтение, гражданка! Да-с... зрелище, поистине возвышающее душу настолько, что... не худо бы выпить за здоровье наших судей!

– Вот истинно патриотическая мысль! – подхватил тонкий, вертлявый мужчина лет тридцати, с плутоватыми, бегающими глазами и головой иезуита, на которой взгляд невольно искал следы тонзуры<sup>[5]</sup>.

И действительно гражданин Фушэ готовился к духовной деятельности, но его вырвал из нее ураган революции.

– Так пойдем к отцу Рено промочить плотку! – весело подхватил Дюран, увлекая за собой Крюцю с Аделью и Фушэ и зазывая по дороге всех встречаемых знакомых.

В кабачок отца Рено они пришли уже довольно

внушительной толпой, для которой пришлось сдвинуть вместе несколько столиков. Через минуту дочь кабатчика, восемнадцатилетняя Сесиль, притащила целую корзину вина, которую впору было бы донести любому парню. Но Сесиль — тонкая, очень красивая — отличалась недюжинной физической силой, и, когда Дюран на правах старого знакомого вздумал облапить ее и посадить на колени, она энергичным движением сразу освободилась от него. Затем, подняв из-под густо сросшихся черных бровей пламенно-угрюмый взгляд темных глаз, девушка коротко спросила:

— Ну?

— Все обошлось на славу, красавица! — ответил Дюран, с полуслова понимая вопрос любимицы. — Семерых отправили в гостеприимные объятия матушки-гильотины, двоих изгнали!

— Семь и два — девять! — лаконично заметила Сесиль.

— Ах, ты, ненасытная! Десятого — Ремюза — оправдали. Да и то сказать, гражданин Лебеф мастерски провел его защиту и доказал...

— Или вернее: ему позволили доказать! — поправил Фушэ, вытягивая свою лисью мордочку.

— Доказал невиновность Ремюза, хочешь ты сказать, гражданин? — с усмешкой договорил Крюшо. — Полно, господа, будем, прежде всего, справедливы! Конечно, нельзя отрицать, что Лебеф произнес красивую, дельную

речь. Но, как заметил гражданин Фушэ, Лебефу именно «позволили» произнести эту речь. Ведь зажал же честный Герман рот остальным защитникам! Может быть, они тоже сказали бы что-нибудь дельное, привели бы убедительные доказательства! Но к чему? Участь их подзащитных была заранее решена, так зачем же даром терять время?

— Да разве участь Ремюза тоже не была решена заранее? — спросил подмигивая Фушэ.

— Да... но... для обвинения всегда есть мотив: патриотизм. А для оправдания... Тут надо было втереть очки общественному мнению. Вообще я никого не осуждаю, я понимаю: все мы — люди. Но будем же справедливы в оценке фактов, граждане! Вы вот говорите, что Лебеф что-то доказал. Но вы судите по тому, что вы слышали, а я... Не забудьте, что первоначальное следствие вел я! Ну, так вот: те улики, которые были приведены на суде, принадлежат к числу самых невинных, а были и посерьезнее... Но — странное дело! — ни на допросах, ни на суде о них и речи не было. — Крюшю встретил пытливый, явно ироничный взгляд Фушэ и невольно смешался, поняв, что пронырливому расстриге отлично известно, что комиссар лжет самым бессовестным образом; но во взгляде Фушэ, кроме иронии, чувствовалось открытое одобрение этой лжи, и Крюшю быстро оправился: он вспомнил, что Фушэ принадлежал в конвенте к числу



тех лиц, которые осторожно, тайно, но упорно подкапывались под Робеспьера. — Я опять повторяю: не будем осуждать, но останемся справедливыми! — продолжал он. — Робеспьеру не так-то легко отправить на гильотину человека, оказавшего ему личную услугу. Велика ли беда, если одним аристократом останется больше? Франции это не повредит, а...

— Ну да «мне это ничего не стоит, а им доставляет большое удовольствие!» — как ответила на исповеди молодая грешница, спрошенная духовником, почему она так уступчива в грехе, — вставил Фушэ.

— Я не могу допустить, чтобы Робеспьер был способен из личных чувств пойти против справедливости и блага государства! — заявил нахмуриваясь Дюран.

— О, конечно, тебе трудно поверить этому! — насмешливо возразил Крюшо. — Помнишь, что ответил тебе наш великий человек, когда ты пришел просить к нему за сына своего друга: «Какое дело государству до личных чувств? Берегись, гражданин! Ходатайствуя за преступника, ты сам взваливаешь на себя часть его вины!»? Но ведь это он говорил про других! Ну, а для себя у него другие законы.

— Робеспьер — гнусный, вредный лицемер! — резко заявила Сесиль, сверкнув пламенным взором. — Фу, гадость какая!.. Помесь сентиментального попа с бездумным палачом. Он — истинный бич Франции но

осудившим нас! Он — маленький сын в Франции, но он сумел забрать нас всех в руки, застрашать! Ах, вы, мужчины! Но ничего: если мужчины слишком малодушны во Франции, чтобы сбросить рабское ярмо, то за родину встанет женщина. Слава Богу, Шарлотты Кордэ еще не перевелись у нас!

Крюшо и Адель переглянулись многозначительным взглядом, но сейчас же опустили глаза под насмешливо-пытливым взором Фушэ. Дюран испуганно вскрикнул:

— Сесиль! Безумная девчонка!

Рено окинула толстяка пламенно-холодным взглядом и ответила:

— Ты боишься, что на меня донесут? Ну так пусть! Все равно, мне своей участи не избежать. Однако я исполню до конца свой человеческий долг: осуждать зло повсюду, где его вижу, а, может быть, судьба пошлет мне счастливый случай и... — она не договорила и, резко отвернувшись, вышла из комнаты.

— Вот шалая! — сокрушенно вздохнул Дюран. — И ведь всегда она была такой бешеной! Бывало, маленькой девочкой забьется в угол и сидит, как волчонок. Однажды отец хотел ее силой вытащить, так она ему все руки искусала. Рассердился отец Рено, схватил ее в охапку, задрал юбчонку, да и отстегал ремнем. Сесиль выдержала наказание не пикнув, но, как только отец ее выпустил, схватила глиняную плошку да и пустила ему в голову. Рено опять выпорол ее, а она о него полдюжины

стаканов разбила. Побился, да и перестал! Поди-ка, справься с таким зверенышем! А уж невзлюбит кого, так лучше не подходи. Например, ее ненависть к Робеспьеру! Ну что ей за дело до Робеспьера? А ведь вот не возлюбила, так на самую последнюю крайность готова!

— Хэ-хэ-хэ! — захихикал Фушэ. — Ты плохо осведомлен, гражданин Дюран! В данном случае, как и всегда, действуют личные мотивы! Это ведь в теории хорошо выходит, что личные мотивы должны отступать на задний план, а фактически весь мир движется ими! Особенно, если еще крылатый божок Амур вмешается.

— Что ты говоришь, гражданин Фушэ? — удивленно спросил Дюран. — Не хочешь ли ты сказать, что Сесиль влюбилась в Робеспьера?

— О, нет, но здесь довольно презабавная связь причин. У Сесиль имеется друг детства, очень миленький юноша...

— Сипьон Ладмираль? Писец в канцелярии конвента?

— Вот именно! Их связывала самая нежная дружба, которая у Сесиль перешла в страстную любовь, такую же дикую, как она сама. Но Сипьон втюрился, словно безумный, в Терезу Дюплэ, а Дюплэ, как известно, на всем свете видит одного только Робеспьера. А последний так влюблен в «народное благо», что не находит времени увенчать любовь нежнейшей из своих

поклонниц!

— Но я не вижу здесь прямой связи! Если бы Сесиль ненавидела Терезу, это — другое дело! А так...

— Однако это очень просто. Сесиль находит, что помехой ее счастью является лицемерное целомудрие Робеспьера. Если бы наш великий человек увенчал страсть Терезы, Сипьон убедился бы, что для него все потеряно, и вернулся бы к Сесиль. Так, по крайней мере, думает эта девчонка!

— Но ведь здесь нет логики!

— Эх, папа Дюран, захотел ты логики от женщины, да еще в делах чувства!

— Но как ты знаешь всю подноготную, гражданин! — с восхищением воскликнул Крюшо.

— О, да, я действительно знаю очень многое! — ответил тот, насмешливо подчеркнув два последних слова и сопровождая их таким взглядом, от которого у Крюшо невольно побежал холодок по спине.

«Проклятый расстрига! — подумал он, невольно кидая злобный взгляд на Фушэ. — Он знает все! Но откуда, как? Ах, да не все ли равно? Но что за несчастный день сегодня!»

Крюшо почувствовал, что обычная подвижность и изворотливость ума совершенно покидают его, что ему необходимо наедине все обдумать и решить. Поэтому он кивнул Адели и встал из-за стола. Но и Фушэ тоже встал, сказав:

— Нам по пути, пойдем вместе, гражданин!

Они простились и вышли. Всю дорогу они шли молча, и каждый раз, когда Фушэ быстрым движением поднимал взор, он встречался с недобрый взглядом Крюшо. Но Фушэ только усмехался в ответ и продолжал молчать.

Наконец они остановились у дома, где жил Фушэ. У калитки он взял Крюшо за пуговицу фрака и сказал:

— Вникни в то, что я тебе скажу, гражданин, и запомни мои слова. Тебе совершенно ни к чему смотреть на меня так враждебно. Я знаю очень многое, и в этих сведениях — моя защита против недругов. Но я никогда не пользуюсь своими тайными сведениями против людей, которые для меня безвредны, а тем более не стану пользоваться против того, кто действует в моих планах и интересах. Ты пошел правильным путем, Крюшо, иди же им и дальше. Правда, тебе не хватает тонкости: если хочешь уронить идола в глазах почитателей, никогда не поноси его, а, наоборот, защищай, но так, чтобы эта защита была обвинением. Пойми, что в массе страшно развито чувство противоречия. Если ты, например, хочешь оттенить чье-либо пьянство, никогда не принимайся ругать его за этот порок, потому что всегда найдутся такие, которые станут защищать, и неизвестно еще, что перевесит. Зато представь себе, что ты заговоришь так: «О, да, конечно,

он пьет очень много, но, господа, при его тяжелой работе и жизни... Разве можно осуждать? К тому же это у него наследственное: его отец и дед были пьяницами! Но ведь он напивается всегда наедине, так что его опьянение никого в соблазн не вводит. При этом он не шумит, не скандалит, а свалится где-нибудь на пол да и спит». Поверь, чем жарче ты будешь защищать его таким образом, тем больше отвращения внушишь слушателям к защищаемому, и в конце концов кто-нибудь непременно воскликнет: «Как можно защищать такое животное? Фу, какая гадость! Что за мерзкая свинья». Ты ведь именно и хотел бы, чтобы это было сказано? Но зато это сказал не ты – тут большое преимущество! Так-то, друг Крюшо! Но в общем я тобой доволен. Продолжай действовать так, колебли пьедестал идола! Ну, а под конец можно приберечь и девчонку! Если ее натравить как следует... Ведь она страстная, смелая, ловкая и сильная! Много ли человеку нужно? Маленькая царапинка ножичком... ранка шириной в полдюйма да глубиной дюйма в два, ну, и... заготавливай прочувствованную надгробную надпись, хэ-хэ-хэ! Так-то, друг Крюшо! А меня тебе бояться нечего! – и Фушэ, хитро подмигнув комиссару, приветливо поклонился и скрылся в калитке дома.

Несколько секунд Жозеф простоял, словно оглушенный, потом выражение бешеной злобы искривило его лицо, а пальцы судорожно сжались в кулаки.

— Что с тобой, Жозеф? — удивленно спросила Адель. — Опомнись, разве Фушэ не прав? Разве он тебе не друг? Разве вас не связывают общие интересы, общая цель?

— Фушэ прав, — замогильным голосом ответил Крюшю, — нас связывают общие интересы, общая цель. Но он — не друг мне, а главное, он знает все. Я — лишь орудие в его руках, и стоит мне отказать ему в повиновении, моя песенка будет спета. О, быть игрушкой в руках этого хитрого расстриги... Адель, меня мучают дурные предчувствия! Над моей головой собираются тучи!

Предчувствия редко оправдываются, когда они основываются на пустых предзнаменованиях или на причинах внутреннего характера: упадке нервов, болезненности или просто малодушии. Но когда эти предчувствия диктуются не чувством, а разумом, когда они основываются на правильно истолковываемых фактах, тогда с ними необходимо считаться.

Для Крюшю такими фактами были оправдание Ремюза, его возобновившаяся дружба с Робеспьером, взгляды, которые кинули на него тот и другой. И действительно, если тут еще не было грозовых туч, уже скопившихся над самой головой Крюшю, зато на горизонте явственно виднелось пятнышко, возвещавшее о возможности наступления непогоды.

Когда Ремюза кинулся жать руки и благодарить

Лебефа, последний поспешил отклонить благодарность.

— Полно, полно, гражданин! — смущенно отбивался он. — При чем здесь я? Не меня надо вам благодарить, а... а вот его! — договорил он, указывая на подходившего к ним Робеспьера.

Ремюза кинулся к нему с благодарностью.

— Гражданин! — сказал Робеспьер, горячо пожимая руку оправданного, — я уверен, что как истинный патриот, которым ты оказался по расследованию, ты не поставишь мне в вину, если я не воспользовался своей властью в личных целях. Ты понимаешь сам, что моя благодарность тебе за спасение сестренки бесконечна, но это — благодарность Робеспьера-человека, не имеющего ничего общего с Робеспьером-деятелем. Если бы я выпустил гражданина Ремюза из тюрьмы только потому, что этот Ремюза когда-то оказал мне величайшее благодеяние, то по логике вещей я должен был бы сажать в тюрьму всех тех, кто когда-либо прежде оскорбил меня. Но Франция, моя прекрасная родина, осталась бы в стороне... Во что же превратилась бы власть? В сведение личных счетов! Значит, если ты не можешь упрекать меня за свое безвинное заключение в тюрьме, то тем менее имеешь право благодарить за освобождение. Но вот его, — и он указал на Лебефа, — ты можешь благодарить, как должен благодарить его и я! — Робеспьер обнял за плечи защитника Ремюза. — Ведь благодарен ему я знаю, кто такой — гражданин Азимов!



благодаря ему я узнал, кто такой — гражданин Азюмер. Но что ты так смотришь в публику, гражданин?

— Я почувствовал на себе пристальный взор ненависти, оглянулся, словно от толчка, и увидел того самого комиссара, который арестовал меня, — задумчиво ответил Ремюза. — Его лицо, говор, манеры — все является для меня мучительной загадкой. Я уже видел его когда-то, но когда, где, под каким именем? — не знаю, не могу вспомнить! Но нас с ним что-то связывает, это бесспорно. Во всяком случае во всем, что касалось моего ареста, им руководило не служебное рвение, а что-то личное, это для меня совершенно ясно!

Робеспьер, еще при первых словах Ремюза оглянувшийся на Крюшю, недовольно нахмурился и сказал:

— Да, этот человек подозрителен мне самому! Но не будем отравлять себе эту приятную минуту — всему свой черед, и делом Крюшю я серьезно займусь. А теперь я хотел просить тебя, гражданин Ремюза, чтобы ты оказал мне честь и пожаловал сегодня ко мне обедать. Я знаю человечка, который будет очень рад повидать старого знакомого! Приходи, конечно, и ты, друг Лебеф! Сейчас у меня имеется небольшое дело, а часа через полтора я к вашим услугам! Ну, так жду непременно! — и, ласково кивнув головой, Робеспьер прошел дальше.

## Амур-победитель

Люси Ренар грустно сидела в своем колесном кресле и с печальной улыбкой слушала страстную речь Терезы Дюплэ.

Тереза, дочь столяра Дюплэ, квартирохозяина Робеспьера и присяжного революционного трибунала, была высокой, хорошо сложенной, сильной девушкой с красивым, энергичным лицом. Густые черные брови шли ровной чертой, сливаясь над переносьем, и придавали лицу суровое выражение, которое многих отталкивало. Но и поклонников у девушки было тоже немало; однако Тереза была глуха и слепа ко всем исканиям, так как на всем свете видела одного только Робеспьера. В ее глазах щедушный Максимилиан был полубогом, героем классической древности, непобедимым, мощным титаном. О, как хотелось бы Терезе стать всем для него! Но Робеспьер, не знавший никаких чувственных страстей и излишеств, живший в тесном кругу своих фанатических идей, как-то не замечал страсти Терезы. Даже не то что не замечал — нет, он не раз говорил ей, что не желал бы себе лучшей жены, чем она, но, по его мнению, теперь, когда молодая республика требовала особенных забот о своем преуспевании и целости, для него, Робеспьера, призванного свыше спасти родину, было бы преступлением отпасть от каким-либо личным

чувствам. Поэтому каждый раз, когда Робеспьер отдыхал в обществе Терезы — а это было для него лучшим отдыхом, — он говорил ей исключительно о своих великих планах, задачах и целях. Ей льстило его деловое доверие, но все же много, очень много отдала бы она за то, чтобы сквозь ровный металлический тембр его голоса просочились хоть раз воркующие нотки пламенеющей страсти. Быть другом, поверенным — прекрасно, но быть *только* другом... Ах, ведь Тереза любила Робеспьера, любила не менее пламенно, свято, глубоко, чем ее саму любил Сипьон Ладмираль, чем любила последнего Сесиль Рено.

О своей любви и бесстрастии Робеспьера и говорила теперь Тереза Люси.

— Меня убивает эта холодность сердца, открытого только для политики! — жаловалась она. — Как он может быть так жесток со мною? Ведь он видит, что я мучаюсь, сгораю на медленном огне, схожу с ума от тоски и страсти! Словно нищий, я молю хоть корочку хлеба, а он спокойно протягивает мне камень дружбы.

— Но, милая Тереза, — со слабой улыбкой возразила Люси, — не подходит ли к твоему положению пословица «как аукнется, так и откликнется». Ведь и ты сама не очень-то благосклонно относишься к поклонению Ладмиралья, который сходит с ума по тебе не меньше, чем ты по дяде Максусу!

— Ах, ну как ты можешь сравнивать, Люси! — с негодованием воскликнула Тереза. — Это — совсем другое дело! Сипьон противен мне, я не переношу людей, у которых нет ни малейшего чувства собственного достоинства! Разве это — мужчина? Он то хнычет, валяясь у моих ног и целуя оборку моего платья, то вдруг начинает грозить, хватается за нож... И все же, если бы я не любила другого, если бы я не знала, что Сипьона глубоко и искренне любит другая, чувство которой он растоптал, изменив без всякого основания... тогда я была бы добрее с ним, постаралась бы полюбить его. Но ведь я люблю другого! А Робеспьер никого не любит! Я не прошу его отдать мне то, что предназначено его сердцем другой... Даже больше: он не раз давал мне понять, что из всех женщин только я одна могла бы заставить заговорить струны его сердца. Почему же они все-таки молчат, эти струны? О, меня иной раз просто пугает эта сверхчеловеческая холодность, это неземное величие духа... Робеспьер стоит за гранью человечности, он перерос бури личных страстей, ему неведома теплота личного счастья!

— Да, ты права! — тихо промолвила Люси, и из ее кротких глаз брызнули слезинки, жемчужинами скорби сверкнувшие на бледной коже нежных щек. — Дядя Макс крепко держит свое сердце на цепи, и не у него найти участие страдающему, теплому сердцу. Но ты еще счастлива, Тереза, у тебя есть надежда, есть возможность

увенчать свои желания... А если и нет, так ведь ты все равно близка душой любимому, ты делишь его мечты и планы, постоянно имеешь его перед собою. А я...

Слезы потоком брызнули из глаз Люси, и рыдания заглушили слова.

– Люси, птичка бедная! – тревожно воскликнула Тереза, тут же забывая о своем личном горе и кидаясь к подруге, которую она нежно любила. – В чем дело? Значит, и у тебя завелась сердечная тайна? Но ты никогда не говорила мне ни слова об этом!

– Не говорила, потому что знала, что я не найду у тебя участия своему горю.

– У меня?! Нет, Люси, ты всегда найдешь его!

– Даже если ты увидишь, что это горе исходит от твоего божка. Не думаю, Тереза, ведь у тебя всегда найдется слово в защиту Робеспьера. Но все равно! Я слишком слаба, чтобы страдать втайне, я должна поделиться с кем-нибудь своим несчастьем, иначе оно задушит меня. Ах, Тереза, Тереза!.. – Люси заплакала, но сейчас же усилием воли подавила рыдания и продолжала: – Помнишь, я рассказывала тебе, как несколько негодяев похитили меня и... совершили насилие. Мне грозила смерть, но судьба послала мне на помощь отважного рыцаря, который освободил меня из рук негодяев. А теперь, сегодня, этого храброго, честного, бесконечно порядочного человека судят, как преступника... мало того. его непременно осудят...

преступления! Какое дело, его непременно осудят! Лебеф говорил мне, что против него нет ни малейших улик, но... дядя Макс во что бы то ни стало хочет осуждения его. Я понимаю, в чем тут дело: ведь Робеспьер больше всего на свете боится, как бы его не обвинили в послаблении преступнику из личных целей. Этот несчастный спас меня, и это-то и служит причиной его гибели. Тереза, я не могу больше! У меня сердце разрывается; я не переживу Ремюза... О, лучше бы я погибла сама, лишь бы не быть причиной его гибели!

— Бедная, бедная Люси! — Тереза опустилась на колени около несчастной женщины и нежно обняла ее. — О, Робеспьер! — вздыхая продолжала она, — ты взобрался на недостижимую высоту, откуда тебе уже не видно земли с ее радостями и страданиями! Ты один в этой холодной пустыне и... порою блуждаешь, сбиваясь с пути! Ведь он любит тебя, моя маленькая Люси, любит глубоко и нежно. И если даже ты не можешь смягчить это стальное сердце, чего же ждать мне? Бедная, бедная птичка! Значит, ты очень любишь своего спасителя? А он тебя?

— Ах, не знаю! Я никогда не думала об этом! Все равно мне нечего было и мечтать о счастье. Что я такое? Несчастная калека, да еще растрепанная, падшая, а он — высокий, чистый, прекрасный. Нет, я никогда не рассчитывала на взаимность! В первое время, когда он

чуть не ежедневно бывал у нас в Аррасе, я просто наслаждалась его близостью, звуками его голоса, взором его прекрасных глаз. Потом я заболела... Очнувшись после долгого беспамятства, я была так слаба, что не думала ни о ком и ни о чем. Потом явилось воспоминанье, воскресло прежнее тихое чувство. Я узнала, что он уехал путешествовать, и благословила его мысленно. С тех пор я жила мечтой о нем. Ремюза постоянно был около меня, я поверяла ему свои молитвы, надежды, огорченья, и жизнь уже не казалась мне такой тяжкой. И вдруг меня словно громом поразила весть: Ремюза вернулся, замешан в процессе десяти, и его ждет суд... О, этот суд! Но я все еще надеялась. Ведь дядя Макс имел возможность хорошо узнать Ремюза, узнать, что этот человек не может быть преступником. Но все напрасно, участь Ремюза решена! Только чудо может спасти его, да где теперь чудеса? Правда, маленькая надежда у меня еще есть — ведь его защищает Лебеф, а судьи и присяжные знают, что Лебеф защищает лишь тех, в невинности которых он уверен. Однако ведь ты знаешь, что мнение великого Робеспьера важнее закона, справедливости, личного убеждения судей, а сегодня я убедилась, что это мнение — не в пользу Ремюза. Ах, Люси, я с ума сойду от одного ожидания! Каждый нерв, каждая жилка, каждая частица мозга напряжены до последней степени! Хоть бы скорее узнать что-нибудь наврное!

Тереза молча смотрела на Люси, не находя слов утешения и ободрения. Да и чем можно было утешить несчастную? Тереза ставила на ее место себя, а на место Ремюза – Робеспьера, и сознавала, что перед такой страшной действительностью слова слишком бессильны. Но ей хотелось хоть несколько отвлечь несчастную от ее тревожных дум, и поэтому она спросила:

– А скажи, кстати, Люси, ты не знаешь, какая участь постигла этих негодяев, которые... сделали тебя несчастной?

– Один из них, хозяин имения, где все это произошло, и главный виновник моего... несчастья, граф де Понте-Корво, был тут же убит на месте. Двое его сообщников бежали. Хотя они и были в масках, но дяде удалось быстро узнать, кто это были. У Понте-Корво как раз гостило двое друзей, которые скрылись после этой истории. Один из них – виконт Гальен – нашел защиту в лице королевы, так что оказался недостижимым для правосудия; потом он эмигрировал в Англию. А другой – самый главный зачинщик, спаивавший слабоумного графа и толкавший его на всякие мерзости – его звали цевалье де Бостанкур, – исчез без следа... О, Тереза, если бы ты видела это чудовище! Кажется, умирать буду, так не забуду этого зверского лица, этих холодных, жестоких глаз!

– Но ведь ты только что сказала, что они были в



масках?

— Да, но, когда эти негодяи бросились на меня в охотничьем домике, я оказала им сильное сопротивление, и во время борьбы маска у Бостанкура отцепилась, так что я могла увидеть его лицо. О, где бы то ни было, я всегда узнаю его! Знаешь, Тереза, страшная власть, которой пользуется дядя Макс, всегда пугает меня, но я благословила бы ее, если бы судьба помогла мне найти этого негодяя. Да только где же? Ведь я — жалкая калека, я не выхожу за пределы дома, а этот Бостанкур, если даже он в Париже, поостережется нанести мне визит. Но что это? Шаги! Это дядя Макс! — девушка смертельно побледнела и схватилась рукою за сердце.

Действительно это были шаги Робеспьера, и скоро его голос весело окликнул Люси из-за двери:

— Ты одета, птичка? Можно привести к тебе гостей?

Люси хотела ответить, но судорога так сдавила ей горло, что несчастная женщина не могла выговорить ни звука: дядя Макс вернулся — значит, суд кончен, участь Ремюза выяснилась. Какова же эта участь? Люси чувствовала, что ее сердце от волнения останавливается.

За нее ответила Тереза:

— Можно, можно, Люси одета!

Дверь открылась, в комнату вошли Робеспьер, Лебей и... Но увидев этого третьего, Люси смертельно

Лебеф и... лю, увидев этого трезвого, Люси смертельно побледнела, ее глаза расширились, из груди вырвался хриплый стон. И вдруг несчастная калека, столько лет просидевшая недвижимо в кресле, простерла вперед руки и встала на ноги. Но тут же ее глаза закрылись, и, пораженная счастьем, Люси безжизненно съехала на пол.

Поднялся невообразимый переполох. Тереза подхватила несчастную на руки и словно ребенка отнесла на кровать, Лебеф кинулся за доктором, Ремюза побледнел и ухватился за оконную раму, чтобы не упасть от волнения. Только Робеспьер продолжал стоять на месте, сохраняя полное хладнокровие.

Положив Люси на кровать, Тереза подбежала к Робеспьеру и сказала с горячей укоризной:

— Ты убил ее, гражданин! Ты ведь должен был знать, как волновалась она за участь человека, к которому всю жизнь питала самое нежное, самое горячее чувство! Как же мог ты привести его теперь к ней, не предупредив, не подготовив?

При этих словах Терезы Ремюза вздрогнул, посмотрел на девушку недоумевающими, растерянными глазами и затем, пошатываясь, неверным шагом, словно лунатик, подошел к кровати, на которой лежала бесчувственная Люси.

— Радость не убивает, но часто излечивает! — тихо ответил Робеспьер, улыбаясь Терезе нежной, ласковой

улыбкой. — Очень возможно, что благодаря испытанному волнению моя бедная Люси избавится от своего недуга и опять к ней вернется утраченное обладание ногами. Да, воистину неисповедимы пути Всевышнего! Ремюза когда-то спас жизнь Люси, теперь ему же суждено сделать одним своим появлением то, в чем сказалось бессилие лучших врачей. А ведь не будь этого процесса, не стой Ремюза так близко к плахе, не было бы волнения Люси и этой спасительной радости. Как познать пути твои, о, Всемудрый? Но смотри, смотри! — продолжал он, указывая рукой на кровать.

Ремюза опустил на колени у кровати и в каком-то опьянении шептал бесчувственной Люси нежные слова. Словно почувствовав близость любимого, словно услышав его голос, Люси на минуту открыла глаза, ее лицо все осветилось высшим счастьем, взор с невыразимой любовью остановился на коленопреклоненной фигуре Ремюза. Затем ее рука с трудом простерлась к нему, губы тихо задвигались. Но в то время как Ремюза покрывал эту руку поцелуями, глаза Люси опять закрылись.

Робеспьер, не переставая улыбаться, снова обратился к Терезе и сказал:

— Нет, нашему брату вредно смотреть на такие чувствительные сцены. Они распаивают твердость сердца, и самому начинает хотеться испытать хоть немного личного, человеческого счастья. И в такие

минуты я даже способен сказать: «А что, Тереза, не попытаться ли нам проверить, стану ли я менее честным патриотом, если найду в твоём сердце немного счастья?»»

– Мое божество, мой любимый! – простонала Тереза, задыхаясь от счастья.

Больше она не могла произнести ни слова. Да и что слова, когда говорят взоры, к чему бледные фразы, когда сердца так ярко, так громко поют страстный гимн тесному единению? И тихо-тихо стало в комнате! Только какое-то нежное жужжанье слышалось в этой тишине; то жужжали, трепеща в радостном танце, крылья божка Амура, весело кружившегося по комнате в торжестве новой победы над мятежными людскими сердцами. О, этот коварный божок, о, этот извечный господин судеб людских! Всюду-то проникает он, везде расставляет свои незримые сети, торжествуя над гордой волей человека! И пусть звенит коса смерти, пусть бледный ужас справляет свой кровавый пир – все равно палун-небожитель не прекращает своего победоносного полета, не перестает играть людскими сердцами!

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ,**  
**в которой повествуется о**  
**злключениях Жозефа Крюшо**

# I

## В тумане

Октябрь 1793 года вполне оправдал свое новое название брюмера, хотя и за плювиоз<sup>[6]</sup> он мог бы отлично сойти. Так, по крайней мере, ворчал одинокий пешеход, осторожно кравшийся поздним вечером по улицам Парижа среди густого тумана и мелкого, всюду проникающего дождя.

На улицах было необыкновенно пустынно и жутко тихо. Пронизанный сыростью воздух напоминал скорее киселеобразную кашу, чем легкий газ, и заглушал всякий шум. Город казался вымершим, и когда из тумана вдруг совсем близко вырисовывалась смутная фигура запоздалого встречного прохожего, испуганно паравшегося в сторону при виде нашего путника, последнему представлялось, что это — не живой человек, а бесплотная тень, бесшумно скользящая по местам своего земного существования.

— «Брюмер»! — со злобной иронией ворчал себе под нос прохожий, тщетно стараясь укрыться в складках широкого плаща от пронизывающей холодной сырости. — Черт их знает! Точно накликали! С воцарением этих мерзавцев-санкюлотов в добром старом Париже все пошло шиворот-навыворот — даже

погода. Впрочем, как раз сегодня мне не приходится жаловаться на туман и дождь: будь на дворе тепло и ясно, я и сегодня не решился бы выбраться к попу, и неизвестно еще, когда представился бы другой такой благоприятный случай. А я устал ждать, устал вечно притворяться, таиться, быть настороже, не сметь даже наедине с самим собой сказать слово от сердца. Меня душит это молчание, я задыхаюсь от необходимости мешаться среди всякого сброда и представляться самому одним из них. Уф! Я чувствую, что еще немного – и я не выдержал бы и наделал бы глупостей...

Пешеход вдруг остановился и прислушался: ему ясно показалось, что сзади него послышался какой-то шум – словно кто-то поскользнулся. Но – нет! – все оставалось совершенно тихо, только где-то невдалеке в водосточной трубе журчала вода – журчала таинственно глухо, словно призрачная вода в призрачной трубе.

– Воображение! – буркнул прохожий и направился дальше, невольно ускоряя шаги. – Но немудрено, если и казаться начнет! Никакие нервы не выдержат этого вечного напряжения. Сколько раз уже я готов был бросить все, махнуть рукою и скрыться, пока сам жив. Велик ли прок мне от всех богатств, если придется сложить голову под санюлотской дьявольской машиной? «Живому псу лучше, чем мертвому льву», – сказано в писании. Но... слишком велик соблазн попытаться остаться и львом, и живым! Однако дороге

нет ни конца, ни края. Уж не сбился ли я с пути в этом чертовом тумане. Но нет, вот что-то темнеет невдалеке! Это – церковь! Ура! Теперь еще несколько шагов, и я у цели!

Действительно из тумана как-то сразу вынырнули очертания мрачной, убогой церкви, казавшейся еще неприветливее в этом унынии осеннего мрака. Пешеход принялся переходить на другую сторону узкой улочки, как вдруг с середины ее понеслись его проклятия, но тут же испуганно смолкли. Только хлопанье грязи показывало, что незнакомый с местностью прохожий старался выбраться из глубокой лужи.

Пока он копошился в грязи и тьме, от угла отделилась чья-то тонкая, юркая фигурка; в несколько легких бесшумных прыжков она проскочила дальше по улице, быстро перебралась на другую сторону по набросанным здесь большим камням и затем скрылась в углу около подъезда маленького покосившегося домика, уныло притаившегося в глубине церковной ограды. Здесь юркий человечек согнулся в три погибели, притаился и стал ждать.

Через несколько минут легкий шум осторожных шагов по каменным плитам двора выдал, что завязнувший в грязи прохожий выбрался наконец и теперь приближается к тому же подъезду.

Скоро из тумана показалась коренастая фигура прохожего. Он вышел из черноты лестницы подвала

прохожего. Он взобрал на невысокую лестницу подъезда, ощупью отыскал молоток и уже хотел постучать, но вдруг раздумал, опять сошел вниз и стал обходить фасад домика. Увидев наконец освещенное окно, он поднялся на цыпочки и осторожно троекратно постучал в него. Через несколько секунд занавеска у окна откинулась, рама распахнулась, и в тусклом свете масляной лампы показалась голова старого священника. Он поднес руку козырьком к глазам и, напряженно всматриваясь в туманную мглу, спросил глухим старческим голосом:

— Кто здесь?

— Крест и лилия! — ответил прохожий.

Руки священника дрогнули, голова испуганно откинулась назад. Сразу было видно, что эти простые слова произвели на него потрясающее, явно неприятное впечатление. Несколько секунд он растерянно молчал, затем с трудом выговорил:

— Да неужели... Граф, это...

— Бога ради, отец Жером! — испуганно воскликнул названный графом. — В этом проклятом царстве дьявола я — гражданин Рибо, и только! Однако впустите меня, отче! Во-первых, на дворе чертовски сыро и я промок до мозга костей, а, во-вторых, не очень-то безопасно переговариваться через окно о таких делах, как наше!

— Идите к подъезду, я сейчас открою! — отрывисто сказал отец Жером.

Действительно скоро скрипнул замок входной



двери, и «гражданин Рибо» скрылся в сенях. Как только новый скрип замка возвестил, что дверь опять заперта, из-за подъезда вынырнула тоненькая фигурка юркого человечка, который крадучись подобрался к освещенному окну. С бесшумной ловкостью кошки неизвестный вскарабкался на выступ фундаментного наличника и осторожно подтянулся к окну, раму которого священник от волнения забыл закрыть. Благодаря открытому окну и щели между занавеской и косяком неизвестный отлично мог видеть и слышать все, что происходило в комнате.

Не успел он как следует укрепиться на своем наблюдательном посту, как в комнату вошли отец Жером и Рибо.

— Итак, вы пришли... — сказал отец Жером, пристально и недоверчиво всматриваясь в лицо позднего гостя.

— Получить то, что должно быть вручено человеку, сказавшему условленный пароль! — dokonчил Рибо.

Священник ничего не ответил и продолжал молча всматриваться в лицо гостя.

— А, понимаю! — громко захохотав, сказал тот. — Вас несколько поражает мой вид! Вы ожидали встретить изящного аристократа, а видите какого-то рыжебородого лавочника. Меня утешает, что мой маскарад оказался таким удачным, но неужели же вы предполагали, что можно явиться за наследством графов де Плэло в своем

настоящем виде? Ну-с, чтобы окончательно рассеять ваши сомнения, скажу, что ларец, который оставила вам для меня моя мать, графиня де Плэло, сделан из красного дерева и инкрустирован перламутром, черным деревом и медным кружевом. В середине верхней крышки вделан серебряный щиток, поддерживаемый двумя амурами, на котором вырезан...

Не слушая его дальше, отец Жером подошел к камину, видимо давно не топившемуся, нажал на одно из украшений верхней решетки, и сейчас же боковая стенка со звоном отскочила, обнажая небольшой тайник.

— Пожалуйста, подойдите и достаньте сами, — сказал он затем. — Я стар, а ларец довольно тяжел.

Гражданин Рибо, или — вернее — граф де Плэло, в один прыжок очутился возле камина, нагнулся к тайнику и вытащил на свет ларец, подробно описанный им перед тем. Ларец был действительно довольно тяжел, но сгоряча граф не заметил этого. Он жадно осмотрел замок, убедился, что печать, наложенная графиней, цела, затем достал из кармана ключик, отпер ларец и торопливо погрузился в рассмотрение его содержимого.

Тем временем отец Жером со скорбной безразличностью смотрел на графа, думая, что у этого аристократа не нашлось даже вопроса о последних минутах матери, которая так горячо любила своего единственного сына. При первых же раскатах

единственного сына. При первом же раскате революционной грозы граф Арман, захватив свои личные деньги, бежал в Англию, без сожаления оставив больную, слабую старуху-мать. А между тем графиня только о нем и думала, и когда революция разразилась, она собрала все самое ценное, заперла в этот ларец и отдала его на хранение отцу Жерому, своему духовнику, который поклялся ей сберечь доверенное в целости для графа Армана. А так как отец Жером не знал лично последнего, то было условлено, что де Плэло, явившись за наследством, скажет «Крест и лилия» и подробно опишет наружный вид отлично известного ему ларца. Графиня едва только успела написать обо всем этом сыну и вручить письмо вместе с ключом преданному лакею для доставки графу в Англию, как ее предчувствия сбылись: ее обвинили в измене нации и казнили.

Эта казнь вызвала в заграничной прессе вопль негодования и потоки иронического злорадства. Всем было ясно, что обвинение больной, беспомощной старухи состоялось лишь ради секвестрования <sup>[7]</sup> сокровищ графов Плэло, а между тем секвестровать оказалось нечего. Правда, к нации отошли громадные поместья графской семьи, но велик ли был в них прок, когда молодая республика нуждалась в золоте и наличных деньгах. Роялистские листки, захлебываясь от восторга, описывали, как бесятся конвенционелы, ломая

голову, куда бы могли деваться все деньги, все фамильные драгоценности, все? Ведь сокровища графов Плэло славились, их было так много, что на целой подводе не увезешь, а теперь изволь-ка довольствоваться несколькими серебряными ложками да крестом на золотой цепочке!

Никто не знал, что еще покойный муж графини, давно предсказывавший плачевный конец монархии, держал почти все деньги в лондонском банке и что сама графиня, не желавшая, чтобы какие-либо ценности достались «цареубийцам», приказала своим верным слугам в одну ночь вырыть яму в саду, свалить туда все столовое серебро и громоздкие ценности, закопать, сверху распахать клумбы и высадить приготовленные цветы. Затем она собрала золото и фамильные драгоценности, среди которых было знаменитое жемчужное ожерелье стоимостью в полмиллиона ливров<sup>[8]</sup> и изумрудный парюр, один только главный камень которого оценивался в двести-триста тысяч, уложила все это в ларец, отправила к отцу Жерому, написала письмо сыну, раздала часть денег прислуге, распустила ее и с ясновидением просветленной старости стала спокойно ждать ареста, который и последовал через два дня.

Все это вспоминалось отцу Жерому, в то время как он мрачно следил за жадными движениями графа, вывпягоя в ларце. Этот пристальный взгляд заставил

графа вскинуть голову. Должно быть, он понял неудобство своего поведения; по крайней мере, он сейчас же захлопнул ларец и чрезвычайно фальшивым голосом произнес:

– Извините меня, батюшка, но я был так счастлив дотронуться до вещей, которые заворачивала и запаковывала моя милая матушка, что даже забыл поблагодарить вас. Позвольте же мне...

– Вы мне ничем не обязаны, – сухо ответил священник, как бы ограждая себя жестом руки от его благодарности. – Я клялся и исполнил клятву, я сделал это для вашей матушки, но не для вас... Значит... вообще, извините меня, граф, но я устал и нуждаюсь в отдыхе.

При этих словах отца Жерома Плэло грозно нахмурился, но, вспомнив, что в его положении было бы неразумно обижаться и поднимать историю, поспешил придать лицу выражение грациозной шутливости и сказал:

– Иначе говоря, пожалуйста к выходу! Не так ли, отец Жером? Ай-ай, батюшка, по-христиански ли будет выгонять усталого путника в такую ужасную ночь? Я так отсырел... и при мысли, что мне надо сейчас опять... брррр! Может быть, вы позволите мне переночевать у вас? Вообще мне страшно неудобно тащиться с этим ларцом – и тяжело, да и из-под плаща будет выпирать,

еще остановят чего доорого... Я предпочел бы оставить у вас этот ларец и постепенно перетаскать в карманах вещи к себе... Вы, конечно, ничего не будете иметь против этого, батюшка?

— Нет! — оборвал его отец Жером. — Берите свое добро и уходите! Уходите сейчас!

— Но я, батюшка, право, не понимаю!..

— Уходите, говорю я вам, потому что я и так сделал больше, чем мог, чем имел право! Увлеченный жалостью и пастырским долгом, я дал клятву, исполнением которой нарушаю долг гражданина. Да, да, граф! Все состояние графов Плэло добыто кровью и потом задавленного в рабстве народа, и не на удовлетворение прихотей разнузданной аристократии, а для нужд этого воспрянувшего народа должно было...

— Ого, честный отец, — с резким хохотом перебил его Плэло, — оказывается, под тонзурой монаха кроется мозг неукротимого якобинца! Ну что же, вам остается только поспешить донести на меня!

— Да, в качестве честного гражданина я должен был бы сделать это, — спокойно ответил священник. — Но это значило бы не выполнить клятвы до конца, значило бы немедленно отнять то, что я обязался вручить вам.

— Ага, значит священник все же перевешивает в вас санюлота? Так будьте логичны до конца! Разве не обязывает ваш сан оказывать помощь и давать приют всякому, будь то друг или враг?

— Скажите, граф, — спросил отец Жером, делая шаг к Плэло, — можете ли вы дать мне слово дворянина и честного человека, что ни одна полушка из достающихся вам через мое посредство богатств не пойдет против Франции, не будет обращена на формирование роялистских армий?

— Я никому не обязан отчетом в своих действиях! — надменно ответил граф.

— Ну, так и меня не обязывают ни религия, ни сан дать приют под своей кровлей Иуде Искаротскому! — резко возразил отец Жером.

Вся кровь кинулась графу в голову при этом оскорблении, глаза побагровели, жилы на висках вздулись.

— Эй ты, поп! Берегись! — крикнул он задыхаясь.

— Опомнитесь, граф! — глухо ответил священник. — Не вам ли надо беречься?

Плэло судорожно стиснул кулаки, закусил губы, но промолчал. Кинув на священника полный страстной ненависти взор, он решительно схватился за рукоятку ларца и понес его к выходу, однако, сделав несколько шагов, был вынужден остановиться и вновь поставить ларец на пол: резная ручка больно впивалась в пальцы, а сам тяжелый ящик при каждом шаге колотился окованными медью углами о ноги.

— Я в одном только отношении одобряю действия господ якобинцев, — злобно кинул Плэло. — Они

совершенно правы, когда без оглядки рубят поповские башки! Лицемеры! От вас — все зло! Вы насквозь пропитаны иезуитской моралью и заражаете ею все вокруг! Только вам обязана Франция всеми ужасами братоубийственной бойни, вы держались за свои привилегии, вы, угрожая Божьей карой, мешали королям снизойти до истинных нужд народа! На вас вся кровь! И вы со всеми своими высокогражданскими принципами — только лицемерный поп! Вам угодно доказательств? Они — перед вами! Не говорили ли вы сейчас, что выдать меня — значит, не довести клятвы до конца. Ну, а выгоняя меня на улицу с такой неудобной ношей, которая сразу обратит на себя внимание первого полицейского, первого рьяного патриота, разве вы этим не выдаете меня?

— Вы правы! — сухо ответил священник. — Подождите! — Он вышел в другую комнату и сейчас же вернулся с парой больших плетеных корзин, в которых разносчики носят зелень. На дне этих корзин виднелись лук и картофель. — Вот! — сказал отец Жером, ставя все это на пол. — Переложите содержимое ларца в обе корзины, засыпьте сверху картофелем и луком, зацепите за этот ремень и возьмите через плечо. Если вас остановят, скажите, что вы еще до закрытия ворот пришли из предместья, но засиделись у...

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, святой отец! — с язвительной иронией перебил его Пьеро. — В судья



с язвительной иронией перебил его Плэло. — В случае крайней необходимости даже и мирянин сумеет лгать и притворяться не хуже, чем это делают попы... всегда! — Он быстро выложил содержимое ларца на пол и продолжал: — Ну, а уж эту коробочку мне придется оставить у вас! Позвольте мне преподнести ее вам в знак моей признательности и искреннего уважения!

Не обращая внимания на наглое издевательство Плэло, священник поднял с пола ларец, пренебрежительно сунул его обратно в тайник, запер его и вышел из комнаты, не удостоивая графа ни единым словом.

Оставшись один, Плэло принялся разбирать пакетики.

— Наши родовые патенты... — бормотал он. — Ну что же, это пригодится со временем, когда мы усмирим разыгравшуюся чернь! Удостоверение на получение капитала из лондонского банка... Вот это — самое ценное, это — сюда! — он развернул камзол, вытащил из-под рубашки полотняный мешочек, сунул туда документы, застегнулся опять и снова взялся за разборку, раскладывая пакетики с драгоценностями по корзинам. Вдруг его взор упал на довольно объемистый кожаный мешочек. Плэло развязал стягивавший его ремешок, сунул туда руку, и наблюдатель, все еще стоявший прикинув к занавеске, увидел, как на ладони графа засверкала кучка золотых монет. — Это очень приятно! —

с довольной улыбкой пробормотал граф. – Мои фонды уже сильно уменьшились, а ведь впереди еще предстоит много расходов! Да... самое главное еще впереди! – и вздохнув, он продолжал свою работу.

## **II**

### **Куй железо, пока горячо**

Должно быть, юркий человечек решил, что он видел теперь совершенно достаточно. По крайней мере он осторожно спрыгнул на землю и крадучись выбрался из ограды. Быстро и бесшумно добежав до угла улочки, он остановился и принялся потирать руки, заливаясь беззвучным смехом.

– Пожива будет знатная! – пробормотал он. – Но что больше всего радует меня, так это торжество моего чутья! Да, да! Полицейским нельзя сделаться, им надо родиться! С помощью большого прилежания и воли можно стать недурным живописцем, поэтом, полководцем, но с одним только прилежанием, без прирожденного таланта не сделаешься даже посредственным полицейским! Тысячи людей проходят перед тобою – все люди как люди! И вдруг в одном из этих тысяч чутье подсказывает неуловимые признаки чего-то особенного. Начинаешь следить, и... хлоп! – он хлопнул в ладоши. – Птичка попалась! Да, но это – уж не птичка а жирный гусь! Я был в состоянии извлечь

неисчислимым выгодам из обнаруженной мною тайны! Берегись, Робеспьер! Я чувствую, что из этого случая мне удастся выпилить несколько крепких досок для твоего гроба, не говоря уже о том, что моя касса знатно пополнится! — добавил он смеясь и затем быстро пошел дальше.

Пройдя еще несколько кварталов, юркий человечек остановился и пронзительно свистнул. В ответ послышался заглушённый шум колес, и из тумана вынырнули фонари легкого экипажа.

— Домой да поскорее, Жюстин! — сказал юркий человечек, садясь.

Через двадцать минут коляска остановилась перед массивными дубовыми воротами. Жюстин соскочил с козел и принялся отчаянно дубасить в них. Послышался шум бегущих шагов, заскрипел засов, ворота распахнулись, и в них показался работник с фонарем.

Экипаж, въехав во двор, остановился перед подъездом. Работник подбежал к экипажу и, помогая барину сойти, высоко поднял фонарь. Лучи света ударили в лицо юркому и осветили лисью мордочку Фушэ.

— Не откладывай, Жюстин, мне скоро надо будет опять поехать. А ты, Тибо, — обратился он к работнику, — беги и приведи мне сейчас же Ришара, Гаво и Сильвана. Приготовь мне поскорее переодеться, Филиппина, —

приказал он старухе-экономке, выбежавшей ему навстречу. – Я промок до костей! И вина мне дай, – кинул он, торопливо проходя к себе в комнату.

Переодевшись, выпив стакан старого хереса и обогревшись перед камином, Фушэ лениво потянулся и мечтательно посмотрел на письменный стол.

– Ах, устал! – протянул он. – Но лениться некогда, «куй железо, пока горячо»! – Часы звонко отзвонили десять ударов. – Боже мой! Уже десять часов! А ведь меня еще ждет Крюшо со своей достойной подругой! Надо поторопиться! – Фушэ еще раз потянулся, зевнул и затем сел за работу.

Первое письмо он написал левой рукой и, запечатав, оставил без надписи. На втором, написанном уже вполне нормально, надпись гласила: «Гражданину-комиссару по охране парижских застав». Покончив с этим, он приказал впустить уже дожидавшихся его Ришара, Гаво и Сильвана – его личных агентов, отличавшихся силой, расторопностью и бесконечной преданностью.

Тем временем, как и предполагал Фушэ, Жозеф Крюшо и Аделаида Гюс с большим нетерпением и волнением ожидали прибытия Фушэ.

– Пойми, Адель, – волнуясь и размахивая руками, говорил Крюшо, – дразнить Робеспьера – это все равно, что к волку в пасть лезть! А Фушэ становится все более и более требователен! Теперь он затеял этот дурацкий

«праздник Разума». Да ведь Робеспьер – этот крокодил с повадками попа – на стену полезет от такого богохульства! Ну, да черт с ним, мне-то невелика забота! Но зачем же мы должны принимать участие во всем этом? Шомет и Анахарсис Клоц и без того стараются изо всех сил; казалось бы, достаточно этого дурачья. Так нет, проклятый расстрига с непонятной мне целью хочет запугать и нас в эту кашу. Это при теперешних-то обстоятельствах, когда Ремюза на свободе и у власти, девчонка неожиданно стала поправляться, а мне так чертовски не везет в розысках, что того и жди, меня обвинят в измене нации, да и делу конец! Нет, видно, придется бежать, чтобы спасти свою шкуру!

– Бежать? – презрительно повторила Адель, передернув плечами. – Бежать, чтобы влачить за границей жалкое, полуголодное существование? Ну да, я понимаю еще эту меру, если не останется других, но... ведь я давно говорю тебе: отделайся от Фушэ! Уверяю тебя, мои русские крупинки действуют на славу, я сама видела, а ты из-за какой-то глупой совестливости все не решаешься!

– При чем здесь совестливость! В нашем-то деле? Но, видишь ли, Адель, Фушэ хоть и требователен, да зато щедр.

– На чужой счет!

– Не все ли равно? Благодаря ему мне удалось в последнее время порядочно полтратить. На одном

только обыске у Рошемонов я заработал около двух тысяч.

— Две тысячи сто пятьдесят пять!

— Ну вот, видишь? Таким образом можно будет в какой-нибудь год составить капиталец да и махнуть за границу. К тому же Фушэ утверждает, что если его планы будут соблюдены в точности, то не пройдет и года, как Робеспьер будет низвержен.

— Да, но если ты будешь слушаться Фушэ, то Робеспьер успеет скрутить тебя в три дня! Велико утешение, что он сам пойдет на эшафот хоть на другой же день!.. тебя этим не воскресят. Для Фушэ это все равно — он преследует свои личные цели.

— Ах, но что же делать, что делать? Проклятое положение! Бежать не с чем, оставаться — рисковать головой.

— Но ведь я же говорю тебе, что надо делать!

Крюшо мрачно прошелся несколько раз по комнате и наконец глухо сказал:

— Сегодня я в последний раз попробую умолить его. Если же это не удастся мне, тогда... — и он сделал жест, как бы отсекающий что-то.

— Наконец-то! — с довольным видом воскликнула Адель. — Сейчас! — она кинулась к комоду, порылась там в ящиках, достала крошечную коробочку и сказала, вручая ее Крюшо: — Слушай, когда настанет момент, я

урону что-нибудь сзади, а ты не зевай: как только проклятая лиса обернется, ты и опусти в его бокал крупинку. Но, чу... я слышу шаги! Это — он!

Действительно на лестнице послышался шум чьих-то шагов, затем в дверь постучали, и в комнату вошел Фушэ.

— Здравствуйте, друзья мои! — сказал он, усаживаясь. — Но чем это вы так взволнованы? В чем дело?

— Гражданин Фушэ! — взволнованно заговорил Крюшо. — Я долго думал о твоих словах насчет этого... празднества... и... Гражданин! На что тебе нужно наше участие в этом маскараде?

— На что? — Фушэ весело рассмеялся. — Да неужели ты не понимаешь всей красоты замысла, гражданин? Прежде всего, уже сама идея устроить республиканский праздник в честь Разума, тогда как нашей республике главным образом разума-то и не хватает! Это ли — не дивная насмешка! А затем подумай, гражданин: в качестве богини Разума на троне будет восседать гражданка Гюс.

— Я?

— Да, да, гражданка, ты, и именно в качестве богини Разума, а не Распутства, хэ-хэ-хэ... В качестве же гения, охраняющего Разум, — гражданин Крюшо. Как, и вы еще не смеетесь, несчастные? Вы только подумайте: богиню Разума мы оденем во фригийский колпачок и туфельки, а

если будет уж очень холодно, то, так и быть, прикроем плащом.

— Но, гражданин Фушэ...

— Да, да, гражданка, я понимаю, что для тебя с этим маскарадом связаны известные хлопоты! Все-таки придется помыться и причесаться, от чего ты, кажется, уже давно отвыкла. Но, черт возьми, надо же пожертвовать хоть что-нибудь на алтарь идеи!

— Довольно шутить, гражданин! — мрачно вступился Крюшо. — Вот уж поистине «кошке — игрушки, а мышке — слезки». Как ты не понимаешь, что именно теперь я должен держаться тише воды, ниже травы. Достаточно малейшей неосторожности, чтобы моя голова скатилась под топором гильотины! Я ведь подробно объяснял тебе, почему...

— А я разве не объяснил тебе, что бояться нечего, так как я все взвесил, все принял во внимание?

— Да, тебе легко говорить: ведь ты рискуешь чужой головой, а не своей!

Фушэ резко ударил ладонью по столу, встал и, вплотную подойдя к Крюшо, сказал с расстановкой:

— Это что такое? Ты начинаешь бунтовать, друг Крюшо? После того как я посвятил тебя во все свои планы, ты хочешь отойти в сторону? Ну нет! Тебе не купить своего спасения ценой измены мне! Что-нибудь одно: или ты будешь беспрекословно подчиняться мне, или я тебя у-ни-что-жу! Понял?



Злобная искорка сверкнула и потухла во взоре Крюшю. Потупив глаза, он пробормотал:

— Значит, ты во что бы то ни стало хочешь нашего участия в этом празднестве?

— Да! — было твердым ответом.

— Ну... что же делать! Адель, дай нам вина! Сядем за стол, гражданин, и поговорим о деле, раз иначе нельзя!

Адель подала бокалы и вино. Чокнулись. Фушэ дождался, пока Крюшю отпил первый, а затем и сам отхлебнул из своего бокала. Но в тот момент, когда он поставил его на стол, сзади вдруг послышались звон и грохот какой-то посуды, нечаянно разбитой Аделью. Фушэ на мгновение обернулся, но этого мгновения было достаточно, чтобы Крюшю успел протянуть и отдернуть руку.

— Итак, гражданин? — сказал он после этого.

— Ну-с, так вот... — Фушэ потянулся и зевнул. — Фу, вот устал-то! Прошлую ночь опять почти не спал!

— Все дела? — заискивающе спросила Адель, подходя.

— Представьте себе, нет! Стыдно сказать: просто зачитался! Взял, понимаете, на сон грядущий какую-то глупую книжонку и. так увлекся, что читал почти до утра! Но под конец я пожалел о даром потраченном времени! Начало было так интересно, а конец глуп до чрезвычайности. Представьте себе, жили были два

чрезвычайности. представы себе, жили-были два умных человека – Анрио и Марио, – которые совместно обделали ряд чрезвычайно остроумных и выгодных дел. Но вот наступил момент, когда Анрио всецело использовал Марио, тогда как Марио еще нуждался в Анрио. Вот Анрио пригласил друга на пирушку, да и подсыпал ему в бокал яда. А Марио заметил это, да и переменялся стаканами. Анрио отхлебнул от бокала, да и протянул ножки. Ну, не идиот ли этот Марио? Ведь Анрио был ему еще нужен, а он дурак, увлекся чисто внешним остроумием проделки и ради остроумия пожертвовал выгодой! Нет, я на его месте сделал бы вот так! – Фушэ толкнул окно, выплеснул свое вино на улицу и, протягивая пустой бокал остолбеневшей от ужаса и неожиданности Гюс, сказал: – Ну-ка, ополосни посудинку, хозяйюшка, а еще лучше – дай чистый бокальчик! Теперь поговорим серьезно. Ведь это ты, кажется, сказал, гражданин, «довольно шутить»? Отлично, повинуюсь! Я оставляю свои невинные шутки, а вы... винные! – он указал пальцем на бокал. – Ай-ай! И подумать только, что необдуманная шутка могла стоить жизни человеку! Однако не будем отвлекаться и действительно поговорим серьезно! Только, пожалуйста, приди в себя, гражданин, так как мне нужно, чтобы ты внимательно выслушал и понял меня.

Спокойный, серьезный тон Фушэ дал возможность Крюшо и Адели несколько оправиться, и они с большим

интересом выслушали его продолжительную речь.

Это была целая лекция о настоящем положении вещей и возможности в будущем направить ход событий по желанию; тут были стройный и разумный план, целая идеология интриганства и проходимничества.

В личности Робеспьера таится величайшая опасность и для Франции, и, главное, для каждого гражданина. Нельзя долго прожить в такой душной атмосфере, которая создана террором: в этом пожаре легко может сгореть все. Что же делать? Тушить пожар? Но не всякий пожар можно скоро и безопасно потушить! Даже наоборот: бывает что, когда выбивают окна и двери, чтобы проникнуть к очагу огня, последний так разгорается, что все остальные меры оказываются бесполезными. Зато, если наглухо заколотить все отверстия, тогда очень скоро огонь пожрет самого себя и погаснет.

То же и с Францией. Нельзя бороться с диктатурой Робеспьера обычными средствами, бесполезно тормозить начинания этого фанатика, вредно взывать к умеренности. Надо заманивать Робеспьера все выше и выше, завести его на такую высоту, откуда один только исход — падение. Надо мало-помалу устранить всех его друзей, оставить его одного, загонять в тупик, направлять события так, чтобы уже не Робеспьер руководил ими, а чтобы они увлекли его мощью своего течения. И тогда наступит апофеоз: зло, как огонь,

пожрет самого себя!

Для этого прежде всего надо создать конфликт между Робеспьером и республиканской идеей. Одной из опаснейших ловушек явится задуманный ныне праздник в честь Разума.

Низвержение христианства и поклонение лишь разуму в природе прямо и логически вытекают из идей якобинства. Конечно, умный человек поймет, что это — истинная чепуха. Разве христианский Бог не есть Высший Разум? Ну, так как ни называй Его, дело не изменится. Ведь называют же французы Его «Дье», немцы — «Готт», греки — «Теос», латиняне — «Деус». Ну, а республиканцы станут называть Его «Разумом». Только ведь, чтобы понять это, надо быть умным человеком, а по существу и Шомет и Робеспьер — первоклассные дураки! Дураки — потому что фанатики! Фанатики-атеисты воображают, что республиканский Бог обязательно должен называться иначе, а фанатик-деист Робеспьер видит в этом ужасающее богохульство. Робеспьер и так уже произнес несколько грозных речей против атеизма. Устройство атеистического праздника заставить его принять крайние меры против богохульников. Ну, а «крайние меры» Робеспьера давно известны: обвинение в измене нации и гильотина! А отсюда произтекут два последствия величайшей важности!

Еще недавно Робеспьер читал в якобинском клубе

...как недавно Робеспьер стал в женском купе  
свой проект новой «гражданской» религии, построенной  
на учении Руссо. По этому проекту глава правительства  
должен быть первосвященником этой религии. Скандал,  
вызванный празднеством в честь Разума, заставит  
Робеспьера ускорить введение новой религии. Уступит  
ли честолюбец кому-нибудь другому честь быть  
первосвященником, и захочет ли кто-нибудь оспаривать  
эту честь у Максимилиана Великого? Конечно, нет! Ну, а  
тогда Робеспьер станет республиканским папой, тогда  
нетрудно будет посеять в массе сомнения, не метит ли  
диктатор куда-нибудь повыше, не хочет ли он шагать из  
пап в короли?

— Конечно, — продолжал Фушэ, поблескивая  
умными, хитрыми глазами, — умный человек отлично  
понимает, что идеи монархизма или республиканства  
решительно ни при чем! За исключением кучки милых  
безумцев, людьми правит только личная выгода, а уж  
никак не идея. Роялисты отстаивали не идею, а свое  
право на лучшие куски. Республиканцы восстали не за  
идею народоправия, а в погоню за этими лучшими  
кусками. Таким образом широкой массе будет  
решительно все равно, каким чином станут величать  
главу правительства. Но в самом празднестве будет  
таиться маленькое зернышко того, почему усиление  
Робеспьера окажется не по вкусу большинству. Ведь я  
уже говорил, что надо будет мало-помалу подвести под

нож всех друзей Робеспьера, то есть людей, стоящих с ним на одной точке зрения. Тут не надо брезговать ни большими, ни малыми. Дантон сослужил такую же службу, как и какой-нибудь захудалый поп, вроде дружка Робеспьера – отца Жерома. Затем я уже говорил, что наше празднество заставит Робеспьера принять меры против атеистов, а ведь атеисты в смысле политического мышления – более крайние, чем он. Кроме того, на днях состоится казнь двух десятков жирондистов, представляющих людей более умеренных взглядов, чем Робеспьер. Ну, так когда наш диктатор объявит себя республиканским папой, все – и большие и малые – станут говорить: «Робеспьер устраняет тех, кто не дошел до его крайности, тех, которые сравнивались с ним, и тех, которые превзошли его в крайности. Так какие же политические взгляды гарантируют нам безопасность и жизнь? Нет, при таких обстоятельствах нельзя допустить дальнейшего усиления этого человека!» Раскусили? Вот тут-то ему и крышка! И ведь какое роскошное дерево вырастет в кратчайший срок из крошечного зернышка, именуемого «празднество в честь Разума»!

– Но позволь, гражданин! – сказал Крюшю. – Ты сам же говоришь, что празднество вызовет преследования против атеистов, и хочешь, чтобы мы играли видные роли во время этого празднества?

– Дурашка! – ласково ответил Фушэ. – Разве

Робеспьер обрушивается на таких незначительных козявок, как ты и гражданка Гюс? Он захочет срубить голову самой гидре безбожия, а эти головы в его глазах — Шюмет, Клоц и Эбер! Для Робеспьера все равно, кого эти господа заставят разыгрывать кощунственную роль, что же касается тебя, то ты будешь там по долгу службы, ведь в таких сборищах всегда можно обнаружить подозрительных! Нет, господа, вам обоим почти ничего не грозит!

— «Почти ничего»! А тебе совершенно не нужно, чтобы мы участвовали в этом празднестве! Ну подумай сам, разве не лучше будет, если все празднество проведут одни только «милые дураки», как ты их называешь?

— Ну, я вижу, что только даром потратил час времени! — с укоризной возразил Фушэ. — Ты так-таки ничего не понял из того, что я толковал тебе, друг Крюшо! Ведь я ясно сказал тебе, что последствия проявятся тем энергичнее и ярче, чем крупнее выйдет скандал! Между тем, если довериться этим фанатикам, то ровно ничего не выйдет! Ты только подумай, Шюмет говорил мне, что богиню Разума должна изображать молодая, красивая женщина, лучше всего актриса, так как тут нужна «пластичность движений и жестов». Затем костюм «богини» должен быть строго классический, само празднество — состоять из торжественных песнопений и т. п. Фу! Ла вель это выйдет прилично ло

тошноты! Нет, я хочу, чтобы богиней Разума оказалась разнузданная, смелая женщина и чтобы около нее были люди вроде тебя – умеющие поддать жару, когда нужно! Пусть празднество превратится в вакханалию, пусть из него получится гнусная карикатура на католическую процессию и службу, пусть оно будет возмутительным до последней степени, черт возьми! Вот мне и нужно для этого с полдюжины разумных людей, которые, замешавшись в толпу, поведут ее к тому, что требуется! Понял?

– Понял... – упавшим голосом уронил Крюшю.

– А в награду за послушание я доставлю тебе хороший случай отличиться и поживиться! – продолжал Фушэ. – Я совершенно случайно напал на след подозрительного человека, в котором угадываю крайне опасного аристократа. Поимка его должна сильно выдвинуть тебя, а потом, по моим сведениям, у молодчика должно оказаться тысяч десять, которые можно будет... при обыске... – и Фушэ, выразительно подмигнув, хлопнул себя по карману.

Взор Крюшю сверкнул радостью, но сейчас же померк. Он подозрительно взглянул на Фушэ и сказал:

– Почему же ты сам не воспользуешься таким солидным кушем?

– По двум причинам, друг мой. Во-первых, никто мне не будет служить даром, и должен же я



предоставить тебе какую-нибудь выгоду в награду за послушание. А, во-вторых, у меня имеются свои соображения. Я отслеживаю другую, более крупную птицу, и если скомпрометирую себя прямым участием в этом деле, то упущу другую сумму, гораздо более солидную. Однако пора домой! — сказал он, вставая и с затаенной хитростью пристально следя за выражением лица Крюшо. — Да, кстати, последняя новость: граф Ронсар арестован при попытке скрыться в Англию! Ведь такое дурачье — эти аристократы! Непременно лезут на северное побережье.

— Да ведь оттуда удобнее всего перебраться в Англию!

— Вот тем-то и неудобнее, что удобнее! Дороги на север и северо-запад от Парижа очень тщательно охраняются, и там больше всего шансов влопаться.

— Так куда же, по-вашему, следует направляться беглецам? — с плохо разыгранным спокойствием спросил Крюшо.

— Как «куда»? — будто бы не замечая интереса Крюшо к этому вопросу, воскликнул Фушэ. — Да мало ли мест? Я, например, отправился бы прямо в одну из деревушек вблизи Макона, нанял бы там парусную баржу, спустился бы по Соне и Роне в Арль и дальше по Средиземному морю к испанскому берегу — ведь парусные баржи постоянно ходят по Лионскому заливу, поддерживая торговлю с Испанией. А в Испании уже

легко сесть на любое английское судно и выбраться куда угодно! Но что это я с такими подробностями рассказываю об этом? — рассмеялся он. — Точно я сам собираюсь бежать! Ну-с, пора и идти. Так вот завтра-послезавтра я доставлю тебе все данные относительно того молодчика, о котором я говорил, и, кстати, дам все инструкции по поводу нашего празднества.

— Как? Уже? Но ведь празднество предполагается...

— В конце брюмера. Совершенно верно! Но сам-то я должен уехать на днях. Меня вместе с Коло-д'Эрбуа командируют в Лион на усмирение, и я успею вернуться всего за несколько дней до празднества! А пока будьте здоровы! — и, делая вид, будто он не замечает радости, ярко блеснувшей при последних словах в глазах Крюшо, Фушэ простился и ушел.

Оставшись одни, Крюшо и Адель выразительно переглянулись.

— Ну? — сказал наконец первый.

— Отлично! — отозвалась вторая. — Мне кажется, что у нас блеснула одна и та же мысль!

— Ведь ты у меня — умница, а значит — да! Сначала надо с благодарностью прикарманить те десять тысяч, которые сулит нам Фушэ, затем...

— Собрать все свои сбережения и...

— Махнуть путем, который указал нам сам Фушэ!

— Да! Вот верно-то, что «на всякого мудреца довольно простоты»! Уж на что Фушэ хитер, а между

тем сам указал дорогу!

О, если бы могли только видеть Крюшо и Адель, с каким дьявольским видом потер Фушэ руки, выйдя на улицу и произнеся одно только слово:

– Марионетки!

### III

## Таинственный «друг»

«Гражданин Рибо», или, иначе, граф Арман Плэло, был очень поражен, когда, добравшись благополучно до дома, нашел у себя на столе какое-то таинственное письмо. От кого могло оно быть? Может быть, это – ошибка? Но выжившая от старости из ума Целестина, вынынчившая когда-то графа Армана, клялась и божилась, что письмо предназначалось именно ему – графу Плэло. Так, по крайней мере, подтвердил ее вопрос присланный, кстати сказать, очень статный и необыкновенно любезный молодчик.

– Как? Значит, ты подтвердила ему, что я – граф Плэло? – в ужасе воскликнул Арман, хватаясь за голову. – Но ведь я тысячу раз твердил тебе, что это имя нельзя произносить вслух, что это может стоить мне головы!

В ответ Целестина идиотски захихикала и сказала приседая:

— Вашему сиятельству угодно шутить со своей старой нянюшкой, но меня-то не собьешь, недаром я съела зубы на службе у графов Плэло и знаю, что их имя может принести только почет! Да уж не из тех будет имя графов Плэло, чтобы еще скрывать его!

— Ступай вон! — с отчаянием крикнул Арман, махнув рукой старухе. — Да пришли мне Мари!

Старуха ушла, непрерывно приседая и бормоча что-то невнятное. Арман опять взялся за письмо и, растерянно повертев его в руках, наконец решился вскрыть печать. Окончательно теряясь, он прочел следующие строки, написанные явно измененным почерком:

«Граф, власти получили сведения, что в Париже скрывался Арман Плэло, явившийся за угаенным наследием отцов. Кроме того, комитет общественного спасения поручил одному из своих агентов проследить за гражданином Рибо, личность которого вызвала какие-то неясные подозрения. Правда, тождество графа Плэло с гражданином Рибо еще не установлено, пока его еще даже не подозревают, но при малейшей неосторожности с нашей стороны все выплывет наружу.

Поэтому неведомый Вам друг, стоящий на страже Вашей безопасности, умоляет Вас не предпринимать ничего и никоим образом не делать попыток выбраться из города. Заведующий охраной городских застав отдал начальникам патрулей строжайший приказ не выпускать

из города никого, за исключением лиц, снабженных свидетельством о благонадежности. Таким образом, попытка выбраться из Парижа повлечет для Вас лишь арест и раскрытие истины.

Но не бойтесь ничего, граф! Я стою на страже и дам Вам возможность благополучно доставить Вашу... зелень («лук и картофель») в Англию. Для этого от Вас потребуются только терпение и полное послушание моим инструкциям. Памятью Вашей покойной матушки заклиная Вас довериться мне и ждать дальнейших указаний! Потерпеть Вам придется лишь дня два-три. Это письмо, разумеется, немедленно сожгите».

Плэло в полном изнеможении опустил на стул. Все вертелось у него в голове — письмо было так непонятно, так фантастично.

Не говоря уже о том, что самое существование таинственного друга казалось странным, совершенно невозможно было объяснить, откуда мог этот друг узнать про «зелень»? Мысль закрыть корзины с драгоценностями луком и картофелем явилась у отца Жерома в последний момент, только он один мог знать об этом, но даже, если он посвятил кого-нибудь другого в эту тайну — чего Плэло совершенно не мог допустить, — этот «другой» не имел бы времени написать подобное письмо и, главное, опередить письмом приход самого графа. Кроме того, отец Жером не имел никакого понятия о том, что граф Арман поселился в почти

покинул с тем, но граф Харман поселился в почти необитаемых развалинах, где ютилась старая Целестина с девятнадцатилетней внучкой Мари. Нет, с этой стороны письмо исходить не могло. Но тогда с какой?

Может быть, тут ловушка? Но нет, и эту мысль тоже надо было совершенно отбросить. Враг не стал бы терять время на всякие хитрости, когда достаточно прийти и арестовать его, графа, со всеми сокровищами! Письмо мог написать только доброжелатель. Но кто он и откуда у него такое всеведение?

Лишь одно объяснение могло быть этому. Еще в Лондоне Плэло слышал легендарный рассказ, будто в Париже оперирует небольшая кучка отважных роялистов, неуловимо скрывающихся под личиной выдающихся патриотов. Эти храбрые рыцари являются звеном, связующим эмигрантов и шуанов<sup>[9]</sup> со столицей. Оставаясь неизвестными никому, кроме членов лиги, отличаясь дьявольской ловкостью и поразительным всеведением, имея у себя на службе отлично организованную армию тайных агентов, они очень часто проделывают такие штуки, которые приводят якобинцев в страшное бешенство. Благодаря этой лиге уже немало аристократов успели спастись от верной казни.

Плэло всегда скептически относился к этой лиге, утверждая, что каждая эпоха обязательно создает свою легенду. Теперь он должен был поверить в ее

реальность: иного объяснения всей этой таинственной истории с письмом не могло быть!

Но, может быть, Мари сумеет дать какие-либо объяснения.

— Скажи, милочка, — спросил он, когда девушка вошла в комнату, — не знаешь ли ты, каким образом появилось здесь письмо для меня?

— Не знаю, милый барин, — ответила девушка, — меня не было дома, я только что пришла! Бабушка сказала мне, что письмо принес какой-то...

— Ах, уж эта мне твоя бабушка! — с отчаянием воскликнул Арман. — Старуха окончательно выжила из ума! Представь себе, ведь она самым спокойным образом выложила посыльному, что я — граф Плэло!

— Да, бабушка стала совсем плоха. Она — душой в прошлом, и настоящее стало для нее непонятным. Еще полгода тому назад она начала заговариваться, а теперь... совсем, что малый ребенок. Я стараюсь не оставлять ее одну, но... иной раз не выдержишь. Ведь уж целый год мы живем в этих ужасных развалинах. Так хотела покойная графиня, чтобы у вас было, где найти приют... Но — честное слово! — еще несколько месяцев, и я чувствую, сама сойду с ума, как бабушка!

— Ну, теперь тебе недолго еще терпеть! — недовольно ответил граф. — Я покончил с делами, и мне надо только подготовить отъезд. Дня через два, через три...

— Вот хорошо-то — воскликнула Мари, всплескивая руками. — И за вас спокойнее, да и... брр... — ее плечи передернулись, словно от холода. — Тогда можно будет зажить по-человечески!

— Вы с бабушкой будете щедро вознаграждены мною за все лишения! — надменно заявил граф. — А теперь окажи мне еще одну услугу. Я получил известие, будто городские заставы охраняются особенно тщательно и что для выезда требуются такие формальности, которых прежде не было. Не можешь ли ты разузнать, правда ли это?

— О, мне это очень легко! Ведь мой... жених... — девушка запнулась и потупила глаза, — служит в национальной гвардии и стоит в патруле у Клиши.

— Твой жених? Твои предки несколько поколений верой и правдой служили моим, а ты выходишь замуж за бунтовщика, убийцу, головореza?

Что-то холодное блеснуло в серых глазах девушки, когда, подняв голову, она твердо ответила:

— Убийцу! Мой Огюст и мухи не обидит! Он только исполняет то, что приказывает начальство. Уж такова доля простого человека — плясать под чью-нибудь дудку. Только теперь все же легче. Короли посылали солдат бить своих же братьев, пухнувших и кричавших от голода, а теперь...

— Так, так! — презрительно протянул граф. — Да, видно, на Францию приходится махнуть рукой.



видно на Францию приходится малпуть рукой. якобинские идеи заразили все вокруг. Ну, да что говорить! Так ты, пожалуйста, узнай мне, что я просил!

Арман отпустил девушку и долго ходил по своей каморке, мучаясь сомнениями, навеянными на него таинственным письмом. Каждый шорох заставлял его вздрагивать: ему все казалось, что вот-вот придут арестовать его. Граф Птэло не был трусом, но ему казалось уж очень обидным, чтобы его предприятие окончилось неудачей именно теперь, когда оставался всего какой-нибудь шаг до полного спасения и благополучия.

Ночь он почти не спал, встал поздно и с тяжелой головой. В полдень пришла Мари и сообщила, что сведения графа о новых строгостях у застав совершенно верны: Огюст по секрету рассказал ей, что власти узнали о пребывании в городе какого-то важного аристократа, и теперь стерегут заставы во все глаза.

Значит, автор таинственного письма не солгал? Но в таком случае, значит, на него можно положиться, его советам надо следовать в точности?

Граф стал ждать обещанных инструкций, но прошел день, а таинственный друг не подавал о себе никаких вестей. Почва горела у Армана под ногами от нетерпения, и на второй день он решил пойти потолкаться по городу.

Не успел он выйти из ворот, как нос с носом

столкнулся с Жозефом Крюшо. При виде агента граф вздрогнул и чуть не повернул обратно. Но Крюшо шел, не обращая внимания на встречного, и Арман направился далее.

«Так он служит в полиции? — думал он. — Ну что же, самая подходящая дорога для такого отребья! Но как бы он не узнал меня. Впрочем, этого бояться нечего! Едва ли мое лицо запомнилось ему тогда, да и рыжая борода, и костюм изменяют меня до неузнаваемости!»

Он погулял по улицам, зашел в кабачок и тут со смущением убедился, что агент преследует его по пятам. Но графу тут же вспомнилась фраза таинственного письма: «Комитет поручил одному из агентов следить за гражданином Рибо». Ничего! Таинственный друг учел это обстоятельство и сумеет парализовать вредные последствия! И «гражданин Рибо» спокойно выпил свою бутылку вина, как и всегда, много ораторствовал о необходимости поскорее отделаться от проклятых «аристо», предавал анафеме лионских мятежников, отказавших в повиновении конвенту, и изливал целые реки восторженных дифирамбов на голову «отцов отечества».

Выйдя из кабачка, он побродил еще немного по городу и вернулся домой, убедившись, что агент неотступно преследует его. Но дома ждало новое письмо: таинственный друг сообщал, что личность гражданина Рибо подвергается усиленному

выслеживанию, но чтобы это не пугало графа, так как все меры приняты. Он отнюдь не должен выказывать ни малейшего волнения и не изменять своим привычкам. Но послезавтра он должен не покидать дома, так как в этот день граф будет вывезен из Парижа.

Послезавтра! Волна горячей радости подхватила Армана!

Следующий день он опять провел на улице, в кабачках и в порыве шаловливого чувства осмелился даже заговорить с агентом. Вечером он сделал все последние приготовления, вручил Мари пригоршню золотых монет в награду за ее заботу и преданность и улегся спать, полный радостных надежд на близкое освобождение.

Вскочил он ни свет, ни заря: освободитель не назначил времени своего прихода, и надо было быть готовым. Но прошло утро, на ближайшей колокольне пробило двенадцать часов, час, два, а никто не являлся.

Вдруг около трех часов в ворота въехала простая деревенская телега с сеном. С облучка соскочил молодой мужчина – по виду самый обыкновенный крестьянский парень из предместья; он быстро подошел к выбежавшему ему навстречу Плэло и, показывая на захваченный им с телеги узел, сказал:

– Скорей, гражданин! Нельзя терять ни одной минуты! Через четверть часа здесь будут полиция и солдаты! Скорей. в комнату!

сидящих. Скорей, в комнату!

В узле оказались черный костюм, какой обыкновенно носили юристы, и затрапезный наряд крестьянки.

— Скорей! — командовал «спаситель». — Бороду и усы долой! Вот так! Теперь оденьте костюм. Отлично! А теперь юбку и кофту. Великолепно! А теперь позвольте превратить вас в старуху! — и он достал из узла седой парик и принадлежности для грима.

Как раз в тот момент, когда лицо графа наполовину было превращено в физиономию старой крестьянки, в комнату вошла старая Целестина. В первый момент старуха в недоумении остановилась, но затем залилась старческим, дребезжащим хохотом.

— Господи, Боже милостивый! — хохотала она, хватаясь за бока. — Все такой же, мой дорогой, милый бариночек! — Любил в детстве проказы, нечего грех таить! Ишь, как принарядился! Уж, наверное, понадобилось к какой-нибудь красавице в дом пробраться. Знаем мы эти шутки, знаем!

— Мари, да убери же ты старую идиотку! — раздраженно крикнул Птэло.

Прибежала Мари и увела смеющуюся, причитавшую старуху. Тем временем маскарад графа Птэло закончился. «Спаситель» захватил обе корзины с «зеленью», сунул их в сено, усадил Армана, уселся сам и крикнул:

БЕЗУСЛОВНО, НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ НА ПОДАРОК

— Готово! Эи, девушка, запри-ка ворота за нами, да когда будут стучаться, не отворяй сразу!

Телега двинулась в путь. У окна вслед ей смотрела старая Целестина, не перестававшая смеяться и желать «дорогому бариночку» успеха в его любовном приключении.

Очень скоро графу пришлось убедиться, что «спаситель» явился в самый решительный момент: когда телега повернула за угол узенькой улочки, навстречу показался целый отряд конных и пеших солдат. Произошло даже легкое замешательство, вызвавшее поток проклятий со стороны предводительствовавшего отрядом Крюшо. Но отряд посторонился, и телега благополучно проехала дальше.

Они проехали несколько пустынных улиц — в этот день было назначено гильотинирование целой партии осужденных, и все население беднейших кварталов устремилось на это зрелище, интерес к которому все еще не уменьшался. Наконец они остановились около колоды, где крестьяне, приезжавшие из ближайших деревень, обыкновенно поили лошадей. У колоды стояла привязанная верховая лошадь, на пороге ветхого палаца мирно дремал сторож при колодной помпе.

— Он не скоро проснется! — заметил возничий, показывая пальцем на дремавшего. — Об этом уж позаботились! Но нельзя терять ни минуты! Слезайте!

Возничий сорвал с Птэло платок и парик, помог

освободиться от платья, достал коробочку с каким-то жиром, помазал им лицо графа, и, вытерев его затем чистым платком, стер таким образом весь грим.

На всю эту процедуру ушло не более минуты. Затем все с той же деловитой молчаливой быстротой возникший подошел к верховой лошади, мирно дожидавшейся у колоды. По бокам седла были привешены два дорожных мешка. Из одного из них он достал дорожную шляпу и с поклоном подал ее графу, затем вытащил из телеги обе корзины с «зеленью», подстелил в мешки сена, опорожнил туда содержимое корзин, бросил женское платье, корзины и парик в телегу, хлестнул лошадь так, что она во всю прыть понесла воз с сеном куда глаза глядят, и сказал, обращаясь к графу:

— Соблаговолите выслушать инструкции и помнить, что от точного выполнения их зависит ваша жизнь. Вы сядете на ту лошадь и отправитесь в Корбейль, не мешкая и не останавливаясь нигде по пути. Туда вы прибудете часов через шесть: лошадь очень вынослива и выдержит этот путь. В Корбейле вы остановитесь в гостинице «Золотой лев». Перед самой гостиницей к вам подойдет человек, который скажет «Крест и лилия». Этот человек сообщит вам дальнейшие инструкции. Вот вам пропуск и документы.

— Но позвольте же мне узнать, кому я обязан...

— В свое время вы все узнаете, а теперь не тратьте

времени попусту и торопитесь!

— Так позвольте же мне хоть вознаградить вас.

— Я уже вознагражден тем, кому нужно ваше спасение. Еще раз повторяю: не мешкайте!

Граф вскочил в седло и поспешно направился к заставе.

## IV

### В беде

На следующий день после решительного объяснения Фушэ опять зашел к Крюшо. Он пришел сообщить ему кое-какие подробности относительно той самой жирной птицы, которую предстояло поймать Жозефу.

Фушэ сказал ему, что подозрительного человека зовут, «гражданин Рибо», но каково настоящее его имя, пока еще неизвестно. Достоверно только то, что под его личиной скрывается один из опаснейших роялистских вождей и на днях ему передадут круленькую сумму для нужд вандейских мятежных шаяк. Поэтому пока Крюшо должен только осторожно выслеживать мнимого Рибо, не предпринимая никаких мер и никому ничего не сообщая.

Через день Фушэ зашел опять, сообщил, что завтра выезжает в Лион, но перед отъездом успеет повидаться

с агентом и даст ему все инструкции относительно как этого дела, так и приготовлений к празднеству в честь Разума. Действительно, что касалось первого, то Крюшо мог быть удовлетворен: Фушэ доставил ему такие сведения, от которых у агента даже под ложечкой засосало! Теперь освобождение из-под ярма было так близко, так близко!

Подумать только: завтра, по точнейшим сведениям Фушэ, мнимый Рибо должен будет получить обещанную сумму! Одновременно с этим его посетят два опаснейших шуана, уже давно скрывающихся в Париже. Захват всей этой троицы так выдвинет Крюшо, что Фушэ будет нетрудно добиться назначения его на ответственную должность куда-нибудь в провинцию, где он, Крюшо, уже может не бояться преследований за старые грешки. Но чтобы предприятие удалось, необходимо проявить большую точность и тонкость.

Визит шуанов к мнимому Рибо назначен ровно в три часа. Если Крюшо явится слишком рано, он спугнет птичек и захватит одного только Рибо, но без всяких улик, а главное — без денег. Если он явится слишком поздно, то все птички могут успеть сбежать. Поэтому Крюшо должен поступить так. Он возьмет конных и пеших солдат и *сейчас же после* трех часов окружит цепью весь квартал, а сам с остальными двинется в самую берлогу. Тогда, если даже молодчикам удастся выбежать через какой-нибудь тайный ход, то далеко они не уйдут!



Крюшо был в восторге от этих детальных сведений самого плана, казавшегося ему необычайно остроумным. Да, в этом деле можно действительно выдвинуться!

Адель, выслушав его восторги, спросила:

— Так как же ты решаешь? Значит, от бегства ты уже отказываешься?

— Видишь ли, — ответил ей Крюшо, подумав, — я попытаюсь перехитрить эту лису — Фушэ. Если дело окончится так, как я рассчитываю, то мне не трудно будет самому выхлопотать себе назначение в провинцию. Тогда к чему бежать? Если же птички окажутся не из таких важных, как предполагает Фушэ, или, если мне будет отказано в моем ходатайстве, тогда придется спасаться, потому что дразнить Робеспьера я больше не согласен! Во всяком случае, когда Фушэ вернется, меня не будет в Париже, так что участвовать в придуманном им маскараде я не стану!

— Что ж, я сама рада буду, если удастся остаться во Франции, — ответила Адель. — Знаешь ли, ведь я пошаталась по разным заграницам и скажу тебе, что нигде наш брат не чувствует себя так привольно, как во Франции. А потом это и для меня самой вернее. Кто тебя знает: скрывшись за границу, ты, пожалуй, еще махнешь на меня рукой.

— Как тебе не стыдно, Адель! — с искренней укоризной воскликнул Жозеф. — Разве я давал тебе когда-либо повод сомневаться в моей любви?

лишь повод скомпенсаться в мести любви!

– Та-та-та, друг мой! Все это очень хорошо звучит, а на деле... Я ведь старею, Жозеф; только чудом я так моложава на вид. Но пройдет еще несколько лет, и природа возьмет свое!

– Все равно я никогда не разлюблю тебя! Ведь и я не так уж молод! А главное: мы с тобою – одна душа. Где я найду другую такую подругу? Нет, Адель, я никогда не изменю тебе, на мою верность ты можешь положиться!

– Верность! Это – слово придумано людьми для собственного утешения. Верной бывает только женщина, да и то когда она начинает стариться. Разве я знала когда-нибудь прежде, что значат «искренняя любовь», «верность»? Словно мотылек, я перепархивала от одного наслаждения к другому, не заботясь о том цветке, с которого только что упорхнула. Только под старость мы начинаем жадно цепляться за свое ускользающее очарование, только под старость ухватываемся за одного, кто сосредоточивает на себе всю нашу позднюю любовь. А уйдет этот «один» – кто тогда захочет взглянуть на нас? С ним уходит все прошлое, все право на личное счастье. Для меня ты – этот самый «один», «последний»... Но не таковы вы, мужчины; вы – до смерти мотыльки.

– Пусть все, но не я, Адель! Никогда и ни к кому еще в жизни я не привязывался, до тебя я не знал, что такое любовь и полное слияние! Я был один, потому что не

находил ни мужчины, ни женщины, достойных меня. В тебе я нашел такого человека, вот почему мы – неразрывная пара, над которой время не властно! Ведь ты умна, решительна, смела, ловка, ты чужда всяких глупых предрассудков, которыми люди портят себе жизнь. Мы – одно с тобою, Адель. Могу ли я отказаться от своей собственной половины?

– Ну что же, будем верить, что это так... Приди же, поцелуй меня, мой верный рыцарь!

Они провели несколько очаровательных часов, полные любви и радостных надежд. Но, видно, судьба нашла, что Жозефу Крюшо отпущено слишком много благополучия: неприятности не заставили себя ждать!

Началось это с жестокой нахлобучки, полученной Крюшо от своего прямого начальника за мелкое упущение по службе. Действительно, в последнее время Крюшо не везло, и у него довольно часто происходили служебные «осечки», а тут еще ловушка, в которую заманил его хитрый Фушэ, окончательно смутила покой агента и лишила необходимой для работы сосредоточенности.

Но все это было бы еще ничего, если бы во время разноса не вошел сам Максимилиан Робеспьер. Зашел он совершенно случайно, но, узнав, в чем дело, тут же подложил несколько крупных поленьев в костер, на котором жарился неудачник-агент. Робеспьер с присущей ему прямоотой высказал, что, разумеется,

агенту некогда заниматься своим делом, если он с головой ушел в политическую интригу.

— Я мог бы раздавить тебя, как мошку, — сказал диктатор, — но не сражаюсь с мошкаррой! Однако берегись! В данный момент я олицетворяю собою республику, и то, что направлено против меня из личной неприязни, может вырасти в государственное преступление, если грозит общественному спокойствию. В твоей деятельности много темных мест, Крюшо! Смотри, как бы революционному трибуналу не пришлось заняться освещением их!

Крюшо призвал на помощь все свое самообладание, чтобы не выказать растерянности и смущения. Торопясь оправдаться, он заявил, что не понимает намеков Робеспьера, что никогда не занимался никакой интригой; если же он иной раз и говорит слишком свободно при посторонних, то этим путем он лишь расставляет сети врагам республики и ее великого главы. Точно так же мелкие упущения, в которых его теперь обвиняют, произошли только потому, что все последнее время он был занят выслеживанием серьезного политического заговора. Теперь все нити у него в руках, и завтра он наглядно докажет, насколько несправедливо обвинять его в бездействии и халатности.

Конечно, его стали расспрашивать, и вот тут-то Крюшо слепал большую ошибку, в которой первый же

Крюшо сидел на скамье, в которой первым же стал каяться потом. Подхваченный хвастливым чувством, он расписал предстоявшее ему дело в таких ярких красках, что самая удачная действительность должна была побледнеть в сравнении с ними. А ведь для Крюшо было именно так важно поразить достигнутыми им результатами!

Параллельно с этим в нем возросла тревога за исход этого дела. Случись какая-нибудь неудача — и он окончательно погибнет!

Да, Жозефу Крюшо предстояло сделать крупную ставку, и он употребил все усилия, чтобы сорвать ее. Весь остаток дня он употребил на то, чтобы тщательно обследовать квартал, где было расположено местожительство гражданина Рибо, заметил все лазейки и проходы, занес свои наблюдения на бумагу и сделал на плане пометки о наиболее разумном распределении сторожевых постов. До поздней ночи он на все лады рассматривал разработанный им план ареста и в конце концов должен был сам признать, что этот план вполне удовлетворителен: птички не могли упорхнуть из расставленных им сетей!

Ровно в три часа Крюшо вступил с вооруженным отрядом в квартал и быстро расставил сторожевую цепь. Когда квартал оказался оцепленным, агент двинулся с унтер-офицером Мало к воротам дома. На углу узкой улочки отряд столкнулся с возом сена, на котором

восседала седая, морщинистая крестьянка. Крестьянский парень, правивший телегой, не успел вовремя посторониться, и в отряде, разбитом телегой на две струи, произошло временное замешательство. Но телега проехала, порядок восстановился, и через несколько минут Крюшо был уже перед воротами дома Рибо.

Ворота оказались запертыми. Крюшо постучался, ему никто не ответил. Он постучал еще и еще – никто не отзывался.

Тогда он приказал высадить ворота ударами прикладов. Теперь, когда грохот ударов разнесся на весь квартал, из-за ворот послышался испуганный окрик:

– Кто там?

– Ага, наконец-то! – усмехнулся Крюшо. – Именем республики откройте!

Послышалось скрипение засовов, наконец ворота распахнулись, и Крюшо увидел молодую девушку, которая с испуганным недоумением смотрела на непрошенных гостей.

– Кто ты такая? – спросил ее Крюшо.

– Мари Батон, гражданин! – ответила девушка.

– Ты здесь живешь?

– Да, гражданин.

– Одна?

– Со старой бабушкой. Она больна и не в своем уме.

– Здесь живет еще некий гражданин Рибо. Где он?

– Гражданин Рибо? Он... кажется... ушел...

– Ушел? – крикнул Крюшо, чувствуя, что земля ускользает из-под его ног. – Этого не может быть! Ты лжешь! Где его помещение?

– Помещение? – молодая девушка усмехнулась. – У нас самих в этих развалинах не помещение, а собачья конура.

– Без шуток! – крикнул взбешенный Крюшо. – Именем республики приказываю тебе провести меня в помещение, занимаемое гражданином Рибо!

Мари пожала плечами и повела Крюшо, сержанта Мало и двух гвардейцев в полуподвальный этаж, где она уютилась с бабушкой в трех случайно уцелевших от общего разрушенья каморках. В одной из этих каморок все носило на себе следы чьего-то недавнего пребывания. Здесь, по словам Мари, и жил гражданин Рибо. Но теперь комната была пуста – птичка улетела, хитро миновав расставленные ей сети.

Тщательный обыск комнаты не дал никаких результатов, показания Мари сводились только к «ушел» и «не знаю». В отчаянии, граничившим с полным безумием, Крюшо вместе с сержантом и солдатами устремился в остальные комнаты. В последней они застали старуху Целестину, важно восседавшую в старом колченогом кресле.

На вопрос Крюшо старуха задумалась с выражением величайшего напряжения. Вдруг ее лицо прояснилось, губы скривила идиотская улыбка.

— Гражданин Рибо? — повторила она. — Ах, да, ведь этот проказник, граф Арман, приказывал называть себя так! Разве вы его не встретили? — она захихикала, подмигивая одним глазом. Ну, да вы, конечно, его не узнали! Вот цалунишка-то! Взял да и нарядился старухой. Смехота!.. Я сама своим глазам не поверила. И ведь уселся на сено, словно всю жизнь...

— Проклятье! — стоном вырвалось у Крюшо. — Мало, живей! Послать во все стороны нескольких конных! Они не успели далеко отъехать! Живей! Ко всем заставам! Нагнать!

— Бабушка! Что ты наделала?! — с ужасом воскликнула Мари.

— А, вот как! Значит, ты знаешь больше, чем хотела показать, красавица? Взять ее! — Один из гвардейцев взял девушку за руку и грубо повел ее во двор, Крюшо последовал за ними, но на пороге обернулся и, снова подойдя к старухе, спросил: — Граф Арман, говоришь ты? Ну а как его фамилия, твоего графа Армана?

Старуха горделиво подняла голову и ответила с важным упреком:

— Вы не знаете, как его зовут? Не делает вам чести! Имя графов Плэло не встречается на каждом шагу!

— Граф Арман Плэло! — воскликнул Крюшо, хватаясь за голову.

Мало, услышав этот возглас, остановился, присел, укрыв себя по бокам и спереди беззвучными руками



хлопнул себя по бокам и залился беззвучным хохотом.

— Ну-ну! — произнес он наконец. — Не завидую я тебе, гражданин Крюшо! Конвент никогда не простит тебе, что ты упустил такую пташку! Граф Плэло! Да ведь это один из самых ожесточенных и к тому же — один из самых богатых врагов республики! Ну, ну!

## V

### Западня

Граф Арман благополучно доехал до Корбейля и, как было условлено, перед гостиницей «Золотой Лев» встретил человека, который произнес нужный пароль и отвел его в приготовленную ему комнату. Попытки разузнать у агента неизвестного благодетеля, кому именно и в силу каких причин обязан граф своим спасением, окончились полной неудачей. Неизвестный ответил лишь, что граф в свое время все узнает и что не умно будет тратить время на бесполезные расспросы, когда дорога каждая минута отдыха: через несколько часов ему снова придется пуститься в путь!

Дальнейший путь проходил с той же таинственностью. Граф аккуратно получал инструкции, везде находил свежую лошадь, все необходимые указания; раза два ему приходилось менять направление и костюм; но ничто не давало ему ни малейших указаний, ни малейшего намека как на причины,

руководившие его спасателями в этом добром деле, так и на саму их личность.

Прошло трое суток утомительного путешествия. Граф Плэло прибыл в указанный ему лесок у горы Святой Мадлены в верховьях Луары. Здесь он получил свежую лошадь, новый костюм и утешительное известие: в городе Роане, находившемся в десятке верст отсюда, вся таинственность приключения будет раскрыта, граф увидит своего избавителя и лично от него все узнает. Кроме того, в Роане графу предстоит отдых в течение нескольких дней; но пусть его ничто не пугает: все меры приняты, препятствия будут устранены, и далее граф поедет без всяких затруднений.

С этой малопонятной фразой посланец неизвестного простился с графом и скрылся.

Граф Арман отправился указанным путем далее и скоро въехал в заставу города Роана. Невдалеке от заставы находилась гостиница с громкой вывеской «Знамя свободы». В этой гостинице, согласно последней инструкции, граф и остановился в радостном ожидании раскрытия окружавшей его тайны и в предвкушении окончательного пути к спасению.

Вскоре Плэло понял, что означало предупреждение последнего агента «избавителя». Не прошло двух часов после прибытия графа в Роан, как в гостиницу явился полицейский комиссар и потребовал у путешественника его документы. Получив таковые, комиссар медленным

его документы. Получив таковые, комиссар мельком проглядел их, сунул в карман и буркнул, что путешественнику придется пробыть в городе неопределенное время; затем, не давая никаких дополнительных объяснений, он ушел.

Прошло два томительных дня. Комиссар не возвращал документов, таинственный «спаситель» не появлялся. Плэло переходил от надежды к полному отчаянью, готов был пуститься на безумный риск и бежать из Роана. Но благоразумие одержало в нем верх, и он твердил себе, что таинственный друг не оставит его в таком незначительном затруднении, если сумел выручить из громадной беды.

Наконец, на третий день вечером, в дверь комнаты Плэло раздался стук.

— Войдите! — крикнул граф.

Дверь открылась, и в комнату просунулась лисья мордочка Фушэ. Он старательно запер за собой дверь и произнес, с улыбкой и поклоном подходя к графу:

— Крест и лилия!

— Мой спаситель! — с жаром воскликнул Арман, кидаясь к посетителю, но вдруг его лицо выразило испуг и недоумение, и он даже отступил на шаг назад.

— А, понимаю! — засмеялся Фушэ: — Вас смущает вот эта игрушка? — и он указал на опоясывавший его трехцветный шарф. — Вы никак не ожидали, что вашим спасителем окажется должностное лицо?

– Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить? – спросил, несколько оправясь, Плэло.

– Я – Барэр де Вьезак, – было ему ответом.

Это имя произвело оглушительный эффект на графа. Барэр де Вьезак? «Анакреон гильотины»? Человек, известный цветистой, сентиментальной лирикой речей, в которых он требовал самых жестоких мер и оправдывал самые грубые насилия якобинцев?

Плэло отступил еще на шаг и растерянно опянулся по сторонам.

– У вас такой вид, дорогой граф, будто вы ищете подходящее оружие, чтобы укокошить меня! – улыбаясь заметил Фушэ. – Но я надеюсь, что это лишь кажется мне. Вы – слишком разумный человек, чтобы ни с того ни с сего погубить себя. На всякий случай соблаговолите взглянуть в окно! Ага! Изволили обратить внимание, что я позаботился о надлежащей охране своей персоны? Но это – только охрана, потому что если бы я хотел погубить вас, то мог бы это сделать двадцать раз и в Париже, и по пути сюда! Ну так бросьте же свою подозрительность, давайте сядем и потолкуем, как подобает двум деловым людям!

– Но, мне кажется, подозрительность более чем уместна в моем положении! – ответил граф, нерешительно следуя приглашению мнимого Вьезака и присаживаясь по другую сторону стола. – Прежде всего, я не понимаю... почему... Ведь вы...

– Да, я – Барэр де Вьезак, и это имя говорит столь красноречиво, что от меня трудно ждать сочувствия к роялисту. Я – страстный приверженец республиканского строя и ненавижу низверженный режим и его представителей. Но... почему же наша молодая республика так плохо вознаграждает своих верных сынов? Ваш арест прибавил бы мне славы, но ее у меня и так достаточно. Ваше спасение прибавит мне достатка, которого у меня слишком мало. Было бы недостойно разумного человека колебаться между двумя этими положениями!

– Иначе говоря, – заметил граф, по лицу которого скользнула холодная, презрительная улыбка, – вы желаете получить плату за оказанную мне помощь? Хорошо, будем кратки. Сколько?

– О, сущие пустяки! Я – человек скромный и не стану ставить вам жестокие требования, пользуясь вашей беспомощностью! Но согласитесь сами, дорогой граф, что без моей помощи вам никак не выбраться бы из Парижа и что мне пришлось немало и потрудиться, и потратиться, чтобы обеспечить вам путь к спасению. А изобретательность, ум, ловкость? Разве все эти качества не должны приносить хорошие проценты? Вы только вспомните прекрасный фарс, когда вы проехали мимо самого носа полиции под видом старухи-крестьянки, которой уже через четверть часа не оказалось в природе!

– Ла. в этом отношении я должен отплатить вам

полную справедливость: во всем этом деле, с первого момента вплоть до моего прибытия сюда, вы выказали гениальную предусмотрительность и дьявольскую находчивость! При всей своей несклонности к суеверию я порой готов был поверить в помощь таинственных сил – так непонятно и загадочно казалось мне многое. Но и теперь, даже узнав руководившие вами мотивы, я все же многого не понимаю.

– О, я с удовольствием разъясню вам все, потому что это в моих интересах! Вам необходимо знать, как было все на самом деле, чтобы вы могли оценить мои старания. Я имел кое-какие подозрения относительно отца Жерома и часто бродил вокруг его дома. В достопамятный вечер я имел случай подсмотреть, чем вы там занимались, и сразу понял, в чем дело. Наблюдая за вами обоими, я заметил, какие злобные взгляды кидал на вас юварный поп, когда вы на него не смотрели. В моей голове уже родился определенный план, а эти взгляды грозили моему плану полным крушением. Я решил последить за попом и заметил, что, оставив вас в первой комнате, он удалился в спальню и там принялся что-то писать. Мне удалось вскарабкаться на окно и подсмотреть, что он писал. Это был донос конвенту на гражданина Рибо.

– Я так и знал! – крикнул граф. – Ну погоди, лицемерный поп! Мы еще посчитаемся с тобой.

— Этот донос, — продолжал Фушэ-Барэр, — был мне вовсе ни к чему, так как мешал спасти вас и заработать на этом спасении. Я сейчас же написал вам письмо, которое должно было сильно удивить вас. Затем я начал действовать. Путем ряда ловких махинаций мне удалось добиться, чтобы ваше дело было передано именно тому агенту, с которым я был в большой дружбе и который часто обращался ко мне за советами. Таким образом я все время был в курсе дела, мог извещать вас о положении розысков, подготовить ваше бегство и послать к вам своего человека, который и увез вас за несколько минут до прибытия полиции. Дальнейшее было уже совсем легко. У меня имеются преданные люди, которые подготовили для вас путь до Роана. Теперь благоволите прикинуть следующее: во-первых — мои расходы, во-вторых — вознаграждение моим людям, в-третьих — оценка понесенного мною риска и хлопот. Все это должно быть вознаграждено, дорогой граф!

— Но я уже предложил вам краткий и ясный вопрос: сколько?

— О, сущие пустяки для вас! Я, видите ли, большой охотник до... зелени, и та, которую вы везете в двух дорожных мешках, отлично вознаградила бы меня!

— Но вы с ума сошли! — крикнул граф. — Да ведь это грабеж! Нет, это невозможно! Этого не будет!

— Очень сожалею, граф, — холодно ответил Фушэ, — в таком случае ваша песенка спета! Дорожа безделицей,

вы потеряете все!

— Но вы и так отнимаете у меня все! — с отчаянием воскликнул Арман.

— О, нет! Я оставляю вам самое важное: во-первых, жизнь, а, во-вторых... во-вторых — разве плохая сумма ждет вас в Англии, когда вы предъявите ту самую бумажечку, которую так бережно храните на груди в замшевом мешочке?

— Вы — дьявол! — простонал граф, откидываясь на спинку стула.

Наступила короткая пауза, затем Фушэ спросил:

— Ввиду того, что я тороплюсь, не разрешите ли вы мне, граф, крикнуть своего человека, который унесет столь милостиво пожертвованную мне вашим сиятельством награду?

— Но будьте же милосердны! — простонал Арман. — Ну давайте сделаем так: берите уж, что поделаешь, один из мешков.

— Нет, граф, меня устраивают только оба!

— Ну так дайте мне отобрать несколько вещей! Ведь некоторые из них очень дороги мне по воспоминаниям о...

— О заплаченных за них предками суммах? — договорил Фушэ. — Но с этой точки зрения и я очень дорожу воспоминаниями!

— Но помилуйте...

— Граф, вы бесцельно оттягиваете время, которое



мне очень дорого! Я не уступлю булавочной головки из своих справедливых требований!

— Хороша справедливость! — вздохнул граф. — Но что же делать? Я — в ваших руках. Только вот что: за что же вы получите награду теперь, когда я еще далеко не в безопасности, и что служит мне гарантией дальнейшей безопасности? Как знать, может быть, уходя отсюда с ценной добычей, вы шепнете пару слов городским властям, и...

— Дорогой граф, не находите ли вы, что мой прямой расчет как можно скорее переправить вас через границу? — ответил Фушэ.

При этих словах лицо графа вдруг вспыхнуло радостью. Он встал и, насмешливо поклонившись Фушэ, надменно процедил:

— Милейший Въезак, приношу вам искреннюю благодарность за то, что вы просветили мой смущенный ум и указали способ действий. Вы немедленно примете меры к тому, чтобы я мог продолжать свое путешествие, и обеспечите его услугами ваших людей. А в тот момент, когда я перейду границу, я вручу вашему агенту такую сумму в возмещение расходов, какую найду нужным!

Фушэ с любопытством посмотрел на графа и ответил:

— Я думал, что вы больше дорожите жизнью, граф! Значит, мне остается только подойти к окну и крикнуть...

солдат:

— О, вы этого никогда не сделаете! Вы сами понимаете, что я молчать не буду и на допросе откровенно расскажу, кто помог мне бежать и кто в надежде поживы кувал измену против республики! Вас мало утешит, что я сложу свою голову, если при этом и вам придется расстаться со своей!

— Но вы — удивительно наивный человек, граф! — возразил Фушэ, не изменяя своей спокойной позы. — Вы только что изволили отметить, что во всем этом деле я проявил «гениальную предусмотрительность и дьявольскую находчивость», и, тем не менее, допускаете мысль, что я упустил возможность подобных угроз с вашей стороны, что я не принял меры, чтобы парализовать действие вашего «искреннего признания»?

— Хотел бы я знать, какие это меры! — с кривой усмешкой возразил Плэло.

— О, я не был бы ни предусмотрителен, ни находчив, если бы раскрыл вам свои карты! Но чтобы вы могли быть уверены в моей готовности к подобному обороту дела, укажу вам на одну только возможность, повторяю — на одну только, так как у меня их много, и этой я воспользуюсь лишь в самом крайнем случае. Представьте себе, что я прикажу вас арестовать. Вас связывают и мне дают несколько солдат, чтобы конвоировать вас в Париж. По дороге я простреливаю вам голову вот из этого самого пистолета, даю

конвоирам по паре золотых из ваших же средств, отпускаю их домой, а сам завладеваю вашими сокровищами и по приезде в Париж докладываю, что вы сделали попытку к бегству и мне пришлось вас пристрелить... Ага, у вас изменилось лицо при этой перспективе, милый граф! Теперь вы видите, как опасно для вас продолжать упорствовать и дразнить во мне желание проучить вас? Скажу вам больше: путь, который я только что начертал перед вами, был мне гораздо удобнее. Я мог бы арестовать вас уже в Корбейле, отнюдь не компрометируя себя. Почему же я не сделал этого? Потому что искренне хочу исполнить те обязательства, за которые требую награды. Если вам мало этой гарантии, то другую я вам дать не могу. Ну-с, мне некогда! Могу я взять мешки сейчас, или...

– Берите! – прохрипел Птэло.

– Благоразумие восторжествовало, отлично! Ну-с, теперь ваш маршрут! Как только вам вручат ваш паспорт – это будет, вероятно, денька через два, – я поговорю с Пежо, прокурором синдика здешней коммуны. Получив паспорт, вы немедленно отправитесь в Риом, минуя Черный Лес и Пюи де Монтоксель. Это – довольно дикие места, но теперь совершенно безопасные. В Риоме вы получите все дальнейшие инструкции, так как я тем временем подготовлю ваше дальнейшее бегство до границы Испании. Ну-с, а теперь....

Фушэ подошел к дверям, отпер их, тихо свистнул в

коридор. Оттуда сейчас же показался человек, и Плэло узнал в нем того самого, который встретил его около Роана.

Этот человек по молчаливому указанию Фушэ взвалил на плечи дорожные мешки с сокровищами графов Плэло и кряхтя направился к дверям.

— Теперь всего хорошего! — сказал Фушэ. — Мы едва ли когда-нибудь увидимся, так как я возвращаюсь в Париж, а вы, наверное, постараетесь держаться как можно дальше от этого города! На прощанье усиленно прошу вас в точности следовать моим инструкциям и терпеливо ждать. Малейшая неосторожность может погубить вас, а ведь я тоже заинтересован, чтобы вам удалось благополучно скрыться за границу!

Плэло промолчал в ответ, но его злобная усмешка была красноречивее всяких слов!

На улице Фушэ подвели лошадь. В то время как Сильван — один из довереннейших агентов Фушэ — старательно подвязывал мешки к седлу, Фушэ бормотал с хитрой улыбкой:

— Ты очень наивен, мой миленький граф! Ты воображаешь, что Фушэ не умеет читать в душе и не смог истолковать твою улыбочку? О, я прочел по ней, как по книге, такую мысль: «Погоди, дай мне только добраться в Лондон, и я оповещу весь мир, как Барэр де Вьезак продал республику за чечевичную похлебку». Но, миленький, во-первых, до Лондона надо добраться а

миленький, во-первых, до Лондона надо добраться, а, во-вторых, – если даже тебе это удастся, в чем я немножко сомневаюсь, то позорь, сколько тебе угодно, Въезака! Какое дело до этого Жозефу Фушэ? Готово, Сильван? – вслух спросил он, увидав, что агент покончил с работой. – Ну, так ты говоришь, что «он» уже на месте?

– По моим расчетам, он должен был часа два тому назад уже прибыть туда.

– Гаво предупрежден и на страже?

– Конечно!

– Так едем, друг мой! Нам предстоит сделать добрых пятнадцать лье, и если мы будем очень торопиться, то успеем прибыть туда только к двум часам. А утром до восхода солнца мне надо быть уже в Лионе! Едем!

Фушэ вскочил в седло, Сильван последовал его примеру, и они быстро скрылись в сгуставшейся тьме.

## VI

### Петля затягивается

Конные солдаты, посланные Жозефом Крюшо во все стороны, вернулись ни с чем. Правда, телегу, в которой скрылась мнимая старуха, они нашли; но телега была пуста, и там обнаружили только скинутое беглецом платье да парик. Очевидно было, что беглец скрылся

под какой-то другой личиной. Но под какой? А ведь, не зная этого, искать было очень затруднительно!

Все-таки Крюшо не терял надежды. Зная, с какими проволочками и формальностями был связан пропуск через заставы, он решил объехать их все и пересмотреть пропуска, чтобы направить агентов вдогонку за всеми подозрительными лицами. Долго искать ему не пришлось: у ближайшей же заставы оказался пропуск, выданный на имя младшего агента полиции Андрэ Сорье, причем заставным властям приказывалось не чинить этому Сорье никаких задержек, так как агент спешит по важному розыскному делу. Под пропуском стояла подпись Жозефа Крюшо!

Нашему неудачнику достаточно было одного взгляда, чтобы видеть, что эта подпись подделана, хотя и довольно искусно. Это открытие повергло его в полное, безграничное отчаяние. Было страшно даже обмолвиться перед начальством о том, что Рибо-Плэло скрылся под личиной Сорье, на что указывали все сопоставления и приметы. Ведь начальство было и так предубеждено против Крюшо и не поверит, что этот приказ о пропуске вообще подделан, а если и подделан, то без ведома и согласия самого агента. Значит, в результате – обвинение в измене и казнь! Но и неудачи с поимкой Плэло ему тоже не простят! Как же быть? Что делать? Бежать! Только бежать! Но куда?

Крюшо кинулся домой, чтобы посоветоваться с

Аделью. Та сразу поняла опасность положения, и ее решение было: бежать и немедленно!

— Слушай, — сказала она, — не говорил ли ты мне, что повсюду за границей так и кишат тайные агенты республики, скрывающиеся под видом бежавших роялистов и выслеживающие настоящих роялистов?

— Да, и многих из них я знаю лично, — ответил Крюшо.

— Ну, так разве любая политическая полиция не возьмет тебя на службу, чтобы ты мог выслеживать и разоблачать этих сыщиков? Полно, а ты еще горюешь, на какие средства мы будем существовать за границей! В том же Лондоне мы сразу и отлично устроимся! Те несколько тысяч франков, которые у нас имеются, помогут нам выбраться из Франции, а там...

— Ты права, дорогая, совершенно права, но как выбраться отсюда? Того и гляди, явятся арестовать меня!

— Как? Но ты забыл о плане, который выболтал нам Фушэ! Надо сейчас же собраться и сломя голову скакать в Макон, а там...

— Но успеешь ли ты собраться?

— Я? Но если я отправлюсь вместе с тобою, милый друг мой, то нас живо сцапают! Нет, я обожду недельки две, а там самым спокойным образом отправлюсь в Калэ и оттуда уже переправлюсь в Англию. Ведь мне-то ничего не грозит!

Спорить и пережевывать план бегства было некогда — нельзя было терять ни минуты. Крюшо поспешно собрался, взял часть денег, легкий чемодан с необходимым бельем и платьем, крепко поцеловался с Аделью и уехал.

Через заставу его пропустили беспрепятственно: ведь агенту частенько приходилось выезжать за город по служебным делам.

Очутившись за городской чертой, Жозеф Крюшо облегченно перевел дух и погнал во всю прыть свою лошадь.

Ехал он быстро, на отдых и пищу тратил самое необходимое время. И все-таки ему казалось, что он подвигается вперед недостаточно быстро.

В первый день он сделал очень серьезный перегон, но зато его лошадь совсем выбилась из сил. На другое утро оказалось, что она загнана и дальше бежать не может. Между тем другую лошадь найти не удалось: в округе недавно была конская реквизиция, и все годные лошади были уведены для нужд армии. Крюшо пережил несколько тяжелых часов. Наконец он решил взвалить на лошадь чемодан и пешком повел ее на поводу.

Недостаток в лошадях сильно тормозил его путешествие и впоследствии. Наконец, на исходе пятого дня трудного пути, перевалив через Котдор, Крюшо завидел вдали голубые воды Соны и крыши города Макона.



Теперь еще одно последнее усилие – и испытание кончено. Только бы найти сговорчивого судовладельца, спуститься в шаланде по Соне и Роне, выбраться в море, а там... там уже можно было считать себя спасенным!

Самым трудным было отыскать подходящую шаланду. Правда, много их пестрило воды реки, но... чего доброго, попадешь еще на патриота или жулика! Жулик отберет деньги да прогонит – жалуйся там на него! А патриот – еще хуже – заподозрит неладное и донесет. Трудное это было дело, и много осторожности требовало оно!

Отдохнув немного в гостинице и закусив, Крюшо отправился побродить по набережной. Быть может, ему посчастливится и он хоть раз узнает что-либо.

Он медленно пошел вдоль берега, жадно всматриваясь в суда, в изобилии стоявшие на реке. Тут были и маленькие, и большие, и новые, и старые, и только что прибывшие, и готовившиеся поднять якорь. Вдруг Крюшо почувствовал, что его кто-то толкает под локоть. Он обернулся и увидел перед собой молодого парня в матросской одежде.

– Что это ты с такой жадностью смотришь на реку, гражданин? – с добродушной иронией спросил его матрос. – У тебя такой вид, будто ты был бы очень не прочь совершить небольшую прогулку в... Испанию! Ну, ну, ну! – успокоительно произнес он, заметив испуганное движение Крюшо. – Бояться тебе нечего, да

и притворяться тоже... бесполезно! У меня глаз наметан, гражданин, и я сразу вижу птицу по полету! Я хотел только сказать тебе следующее: наша республика — да сохранит ее Всевышний на долгие годы! — все же порой бывает крутенька, и этим господам из конвента ничего не стоит лишить человека такого украшения, без которого ему трудно обойтись — самой верхней надстройки! Ну, а мы с хозяином — люди жалостливые, и за небольшую сумму денег уже не одного такого несчастного благополучно вывезли в море! Так вот, гражданин, если я не ошибся и ты действительно собираешься совершить прогулочку, то позволь доложить тебе, что наша «Мари» — судно доброе, крепкое и быстрое на ходу, а судовой повар знает свое искусство в совершенстве. Ну, а если я ошибся, то прости на неловком слове!

Крюшю внимательно посмотрел на матроса: ничего подозрительного в его лице или взгляде не было. Да и уместна ли здесь подозрительность? Разве не говорил Фушэ, что в Маконе многие судовладельцы промышляют этим? Поэтому он решился спросить:

— А сколько берет твой хозяин за... это?

— О, мой хозяин не прижимает несчастных беглецов, можешь быть спокоен! Вы с ним легко столкнетесь! Все зависит от того, срочно ли это для тебя, то есть можно ли будет принять товар кое-где, или надо

лететь стремглав. Ну, и от стола тоже — насколько ты требователен насчет корма. Словом, у нас найдется проезд на всякую цену, об этом не беспокойся! Ведь не совсем же без денег ты пустился в бега?

— Ну так отведи меня к своему хозяину!

— Да его еще нет, он уехал по делам и будет только ночью!

— А когда вы трогаетесь в путь?

— Да видишь сам, что ветер попутный! Долго прохладиться не будем — часа в два-три ночи и снимемся с якоря! Только ты об этом не беспокойся; если хочешь воспользоваться нашей «Мари», то можешь смело довериться мне. Приезжай хоть сейчас. Я отведу тебе каюту, а там придет хозяин, и вы столкуетесь!

Крюшю согласился, что это будет для него самым подходящим делом, и попросил матроса сейчас же сходить с ним в гостиницу и взять его вещи. Так и сделали, и через какой-нибудь час Крюшю уже сидел в отведенной ему каюте и смотрел в маленькое окошечко на видневшиеся вдали городские огни. И ему думалось при этом, что теперь-то он наконец у гавани и что самые большие трудности позади. Пусть даже один из этих огоньков освещает лицо человека, посланного в погоню за ним, Крюшю, все равно — еще несколько часов, и шаланда двинется на парусах вперед, к свободе и безопасности!

Ветер крепчал, волны начинали все сильнее качать

заякоренную шаланду, которая скрипела, словно жалуясь на бесцеремонные шутки стихии. Но этот скрип сладкой музыкой отдавался в ушах беглеца: он возвещал ему, что все складывается благоприятно для бегства и попутный ветер быстро домчит шаланду за пределы досягаемости.

Однако эта качка просто укачивала; хотелось спать, особенно после всех волнений и тягот трудного пути. Приказав Пьеру Гаво — так назвал себя матрос, приведший Крюшо на судно — постучать, как только на судно прибудет хозяин, беглец улегся на койку и вскоре заснул глубоким сном.

Крюшо проснулся от топота и шума на палубе. В первый момент он вскочил с койки, испуганный до последней степени: ему представилось, что это пришли арестовать его. Но он сейчас же успокоился: шум и топот происходили от того, что шаланда снималась с якоря. Действительно, заскрипел кабестан, шаланду сильно качнуло несколько раз, и вдруг воцарилось полное спокойствие — якорь был поднят.

Затем весь корпус судна сильно вздрогнул два раза, что-то скрипнуло, шаланда плавно легла на один бок, и Крюшо заметил вдруг, что огонек прибрежного фонаря вдруг стал удаляться: это натянули паруса, и шаланда двинулась в путь.

С облегченным сердцем Крюшо лег опять, и только начал забываться, как в дверь с силой постучали.

— Кто там? — крикнул он сквозь сон.

– Пожалуйста! – ответил голос Гаво. – Хозяин желает познакомиться, да и насчет расчета поговорить!

Крюшо кряхтя встал с койки, поправил туалет и последовал за Гаво. Тот довел его до каких-то дверей и, лаконично объявив: «Тут», – впустил внутрь.

В каюте над маленьким письменным столом горела висячая масляная лампа, освещающая какую-то согнутую фигуру, что-то старательно писавшую. Свет лампы ударял прямо в глаза Крюшо, и он не мог хорошенько разглядеть писавшего. А тот не обращал ни малейшего внимания на вошедшего. Крюшо кашлянул – ни малейшего эффекта, сделал несколько шагов вперед, умышленно стараясь ступать погромче, – тот же результат. Наконец он нетерпеливо сказал:

– Вы хотели поговорить насчет расчета, патрон!

Тогда писавший положил перо, повернул голову, и Крюшо увидал перед собой лисью мордочку Фушэ.

Словно пораженный громом, Крюшо окаменел, не будучи в состоянии проронить ни звука. В это время Фушэ сказал:

– Да, да, друг мой Крюшо, нам с тобой пора уже рассчитаться! Гм... Ты задумал бежать? И тебе не пришло в голову, что моя рука всюду достанет тебя?

Крюшо продолжал молчать. Язык отказывался повиноваться ему. В голове мутилось. Начинало казаться, что он просто сошел с ума и видит картины бредовой фантазии

средовой фантазии.

Фушэ встал, взял за рукав окаменевшего Крюшо, толкнул его на табуретку около стола, уселся сам и продолжал:

— Да, милый мой, нам нужно рассчитаться. Сначала ты сделал попытку отравить меня, а когда это не удалось, ты решил сбежать. Да как же ты решился на это, раз я вполне определенно сказал, что ты нужен мне в Париже? Друг мой, берегись! Два преступления подряд! Третьего я уже не прощу!

— Но... я... ты... как же... — бессвязно произнес Крюшо, к которому все еще не возвращался утерянный дар слова.

— Впрочем, — продолжал Фушэ, — уж не знаю, право, не махнуть ли мне на тебя рукой? К чему мне дожидаться третьего проступка, когда первые два достаточно наглядно показали, что на тебя нельзя положиться? Нет, лучше будет, пожалуй, по прибытии в Лион отправить тебя под конвоем в Париж и написать несколько слов лично Робеспьеру!

— Пощади! — глухо простонал Крюшо. — Ведь ты не знаешь, что заставило меня бежать! Мне не удалось арестовать Рибо, под личиной которого скрывался граф Арман Плэло. А между тем накануне неудавшегося ареста я случайно столкнулся с Робеспьером, который пригрозил мне гильотиной за интриги против него. Если бы я остался в Париже, мне не уйти бы от казни. И

ведь всем этим я обязан только тебе!

– Допустим, что это несколько смягчает твою вину. Допустим даже, что я согласен простить тебя, забыть все прошлое, как если бы его не было совсем. Но обещаешь ли ты впредь слепо повиноваться мне?

– Но, гражданин, я и так... Только роковое стечение обстоятельств...

– Хорошо! В таком случае ты должен немедленно вернуться в Париж!

– Гражданин, да подумай сам, разве это...

– Что? Возражения? И это называется слепо повиноваться? Молчи и слушай! Ты немедленно возвратишься в Париж...

– Нет, гражданин Фушэ, добровольно я на гильотину не пойду! Тогда уж лучше прикажи связать меня и отправить в Париж под конвоем. Вдобавок ко всему прежнему, что могу я сказать, если меня спросят, где это я пропадал столько времени?

– Ты можешь сказать, что кинулся преследовать бежавшего графа Плэло и...

– И не настиг его? – Крюшо горько усмехнулся. – Хорошо оправдание!

– Нет, настиг и связанным доставил на суд народа! – произнес Фушэ, а, когда Крюшо с изумлением посмотрел на него, он усмехнулся и продолжал: – Дурашка! Я тысячу раз говорил тебе, что сам ничего даром не делаю, а потому не могу требовать, чтобы и

мне служили даром! Какой мне смысл губить тебя, какая польза отправлять в Париж, если по логике вещей там тебя должны ожидать крупные неприятности? Наоборот, чем твое положение будет тверже, тем лучше и для меня, так как тогда ты сможешь с большим успехом способствовать моим планам. Ах, Крюшю, Крюшю! Я дал тебе столько доказательств своей ловкости, а ты все еще не доверяешь мне! Помни одно: если ты будешь слепо повиноваться мне, то я никогда не оставлю тебя в беде. Я сумею увести тебя из суда под самым носом у судей, я найду средство освободить тебя из-под самого ножа гильотины! Только — доверие, доверие и доверие! Моя голова устроена так, что я умею все предвидеть, умею учесть всякую мелочь! Разве я не знал, что ты при первой же возможности сбежишь? Доказательство налицо: ведь я даже сумел предугадать твой путь! Если бы я хотел, я мог бы помешать тебе сделать хоть шаг из Парижа, но я видел, что ты все еще не убежден в истинной величине моего могущества, что тебе надо дать наглядное представление о нем. Теперь ты видишь: ты в моей власти в тот самый момент, когда думал, что находишься в полной безопасности. Мало того, я даю тебе возможность вернуть все утраченное, вернуться в Париж с высоко поднятой головой, доставить туда важного арестанта. Неужели тебе мало этого, неужели ты все еще не постиг, что со мной ты — все, а без меня — ничто? Ну так как же: согласен ты слепо, беспрекословно



повиноваться мне, готов ты теперь поверить, что со мной тебе ничто не грозит?

— Приказывай, гражданин! — несколько ободрившись, ответил Крюшо.

— Хорошо, слушай! Но сначала несколько слов: ты не должен никогда ни полусловом обмолвливаясь, что я давал тебе какие-либо инструкции. Это важно для тебя потому, что только при этих условиях я буду в состоянии выручить тебя из затруднительного положения, которое не раз представится тебе в Париже. И помни всегда, что, как бы безысходно ни казалось тебе какое-нибудь положение, Фушэ всегда найдет выход! Теперь слушай!.. Мы спускаемся вниз по Сене и через час дойдем до Бельвиля. Там ты высадишься, а я отправлюсь дальше, так как мне надо до восхода солнца быть в Лионе. В Бельвиле в данный момент находится воинский отряд под командой лейтенанта Ризенера. Ты обратишься прямо к нему, предъявишь... — Фушэ достал из папки подписанный приказ, вписал в него имя Крюшо и продолжал, — предъявишь вот этот приказ и возьмешь шесть конных солдат, с которыми отправишься на рысях в Сен-Жермен. Там ты будешь ждать возвращения Гаво, который отправится вместе с тобой. Гаво сообщит тебе в точности, где именно должен состояться арест. Но помни, что при встрече с Плэло ты должен придать всему происшествию характер случайности. Это

неоходимо по моим соображениям... да, вот еще что: по прибытии в Сен-Жермен не располагайся на отдых, а будь готов выступить в любой момент. По моим соображениям, ты захватишь Плэло около четырех часов дня между Сен-Жюстом-ан-Шевалэ и Нуаретаблем...

— Но я не понимаю, как можешь ты, гражданин... — начал Крюшю.

— Ты многого не понимаешь, это видно по всему, — оборвал его Фушэ. — Но именно потому тебе необходимо слепо повиноваться мне! А теперь ступай к себе, у меня еще много дела!

Крюшо ушел. Фушэ сел за работу. Он написал прокурору синдика Роана, чтобы путешественнику немедленно вручили задержанные бумаги, так как препятствий к тому более не встречается, а затем — письмо к графу Плэлю, в котором извещал последнего, чтобы тот немедленно по получении документов пускался в путь, так как, по-видимому, на его след напали. При этом он добавил, что графу стоит только добраться до Риома, и тогда все опасности останутся за спиной.

Затем Фушэ вызвал к себе Габо и сказал ему:

— Слушай меня внимательно! Ты высадишься вместе с Крюшо в Бельвиле. Крюшо обратится там с требованием, чтобы ему дали солдат. Дождись, будет ли удовлетворено это требование. Если нет — оставь Крюшо там, а сам лети во весь опор ко мне в Лион за

инструкциями. Если да, отправляйся в Роан и передай вот эти два письма: сначала — графу Плэло, а потом прокурору. Но передай письмо графу не сам, а через кого-нибудь, сам же выследи, отправится ли граф на Риом, и если да, то какой из трех дорог. Вернее всего, что он отправится по направлению Сен-Жюста и Нуаретабля. Дорога между этими городками идет через горы. В пяти лье ниже Сен-Жюст-ан-Шевалэ имеется деревушка Сопиноль. Дорога до нее все время идет по подъему и так трудна, что в местной гостинице путешественники всегда останавливаются на отдых. Здесь и должен состояться арест. Поэтому, убедившись, по какому направлению отправился Плэло, ты возьмешь пару крепких лошадей и стремглав понесешься в Сен-Жермен.

— Вы говорите о Сен-Жермен-Лаваль?

— Ну, конечно! По дороге ты переседаешь на другую лошадь, а уставшую поведешь на поводу. Это необходимо, так как дорога трудна, а весь успех дела в той быстроте, с которой ты успеешь доехать. В Сен-Жермене уже будет находиться Крюшо с солдатами. Ты поведешь их прямо на Нуаретабль, а оттуда — навстречу Плэло. По моим расчетам вы успеете добраться в Сопиноль раньше него, и там состоится арест. Как только дело будет сделано, ты вернешься ко мне с докладом.

— Но может случиться, что граф изберет не эту

дорогу.

— Это почти невозможно. Но если даже так, то предоставляю план действий твоей сообразительности. Во всяком случае Плэло не может миновать Нуаретабль, а вы прибудете туда раньше него. Помни только одно: арест должен состояться не в городе, и после ареста Плэло надо вести в Париж, минуя Роан. Вот и все! Теперь ступай и приготовься, так как, по моим расчетам, мы через четверть часа подойдем к Бельвилю.

Гаво ушел. Крюшо поднялся на палубу и стал сторожить, чтобы вахтенный не пропустил в предутренней дреме Бельвиля.

## VII

### Петля затянулась

Дальнейший ход событий наглядно доказал, что Фушэ был прав, хвастаясь своей способностью рассчитать заранее всякую мелочь. Правда, и в этот расчет могла вмещаться — да и вмещалась — такая мелочь, которую нельзя было предугадать и которая все же значительно изменяла финал задуманного дела. Так, например, Фушэ никак не мог предугадать, что как раз в тот момент, когда он готовился завершить свой частичный, сложный план, Робеспьер немного прихворнет и что эта болезнь в некоторых отношениях

расстроит общие планы Фушэ, хотя в других – впоследствии поможет им. Что касается ближайших событий, он выказал довольно-таки пророческое ясновидение, и в три часа следующего дня Крюшо вместе с Гаво и шестью солдатами въезжали в Сопиноль.

По всем расчетам, Плэло должен был прибыть туда через полчаса. Поэтому Крюшо с Гаво первым делом отправились знакомиться с топографией местности.

Дорога из Сен-Жюста к Сопинолю делала очень крутой и извилистый подъем, и это облегчало наблюдение, так как с сопинольских скал можно было видеть проезжающих за добрую тысячу шагов. Чтобы отрезать графу отступление, Крюшо оставил двух спешенных солдат при въезде в деревушку, выбрав для них удобный пост за громадным камнем. Двое конных были отправлены за околицу на выезд из деревни, чтобы графу никак не удалось ускользнуть, а сам Крюшо с двумя остальными засел в гостинице «Луара».

Гаво остался сторожить, и скоро условленный свист известил, что Плэло появился вблизи деревушки. Тотчас же после этого в кабачок прибежал и сам Гаво. Он быстро подтвердил еще раз последние инструкции Фушэ и поспешно скрылся в соседней комнате: Плэло не должен был видеть его здесь.

Через четверть часа послышался стук лошадиных копыт, и у гостиницы остановился Плэло. Он спешился,

отдал поводья подбежавшему хозяину, а сам вошел в общий зал.

При входе он вздрогнул и остановился, увидев двух солдат. Он даже сделал невольное движение, как бы собираясь повернуть обратно, но ему сейчас же пришло в голову, что было бы неблагоразумно навлекать на себя подозрения, так как солдаты благодушно распивали бутылку вина. Поэтому он прошел внутрь комнаты и только было собрался крикнуть служанку и заказать себе поесть, как из угла послышался иронический возглас:

— Боже мой, да ведь это — граф Арман Плэло! Какая неожиданная, но приятная встреча!

Вслед за этими словами к оторопевшему, растерявшемуся в первый момент графу подошел Крюшо.

— Именем республики я вас... — начал агент, но Плэло уже опомнился.

— А, Иуда-предатель! — с бешенством крикнул он и, выхватив из-за пояса пистолет, направил его на Крюшо, но сильный удар одного из подоспевших солдат заставил его выронить оружие.

Однако справиться с графом все же оказалось не так-то легко. Крюшо пришлось вызвать остальных четверых солдат, но, несмотря на то, что против Плэло теперь было целых семеро, он до последней возможности оказывал бешеное сопротивление. Разумеется, это сопротивление было бесполезным и

называется, это сопротивление было бесполезным, и вскоре Гаво понесся в Лион с донесением, что Плэло, получивший несколько серьезных ран, связан по рукам и ногам и поспешно увезен в Лапалис, где ему будут сделаны необходимые перевязки.

Так и сделали. В Лапалисе местный врач перевязал раны пленника, которого затем взвалили на телегу и повезли дальше. Теперь успех окрылил Крюшо, и ему хотелось как можно скорее добраться до Парижа, чтобы с триумфом представить своего пленника. Поэтому они всю дорогу ехали почти без передышки. Два солдата все время скакали впереди и подготавливали свежих лошадей; таким образом весь путь до Парижа был проделан менее чем за двое суток.

И все-таки Крюшо не терпелось. В десяти лье от Парижа он оставил Плэло под охраной солдат, а сам поскакал вперед.

Нечего и говорить, что его встретили с распростертыми объятиями. Но что при других обстоятельствах было бы поставлено ему в вину, при наличии успеха послужило только к его же славе. Ну, конечно, ему не надо было тратить время на то, чтобы испрашивать разрешение начальства, а следовало сейчас же, по горячим следам, кинуться в погоню!

И надо было видеть, каким павлином раздулся Крюшо от всех этих похвал!.. Чтобы придать больше цены и веса аресту Плэло, он сфантазировал целую

историю, случайно оказавшуюся очень близкой к действительности. Он с приукрашиваниями рассказал историю своей первой неудачи, сообщил, что Плэло явно находился под покровительством каких-то могущественных и осведомленных лиц, которые извещали его обо всех приготовлениях полиции, что и дало возможность графу так нагло явиться в Париж и так смело, дерзко избежать преследований, пока талант, настойчивость и служебное рвение Крюшо не восторжествовали над всеми кознями.

Его рассказ показался вполне правдоподобным и встревожил власти. В то время в Париже все учащались случаи самого дерзкого исчезновения лиц, принадлежавших к роялистам или скомпрометированных сношениями с ними. Бывало так, что преследуемый «подозрительный» вдруг исчезал на глазах у явившегося арестовать его комиссара; уже много титулованных арестантов таинственно скрывались из тюрем, а один из захваченных полицией вождей шуанов был освобожден и укрыт по дороге к гильотине: по неизвестной причине на улице произошло замешательство, а когда волнение улеглось, оказалось, что осужденный бесследно исчез.

Относительно виновников этих освобождений ходили три версии. Одна приписывала освобождение таинственной лиге аристократов, скрывавшейся в самом Париже и имевшей разветвления в Вандее и Англии.



Другая говорила, что в самом конвенте образовалась партия недовольных террористическими излишествами и что вот эти-то недовольные и освобождают арестованных. Третья версия утверждала, что все это — дело рук совершенно беспартийных головорезов, играющих с огнем из чисто спортивного интереса.

Как бы там ни было, Робеспьер был сильно встревожен всем этим и тщетно ломал голову над способом раскрытия истинной природы и организации тайных освободителей. Арест Плэло давал некоторую надежду на то, что можно будет разыскать кончик нити, по которой уже легко будет добраться и до всего остального. Поэтому он отдал приказ: выслать навстречу арестованному сотню солдат во избежание попыток освободить Плэло, поместить арестованного в надежное помещение под надежной охраной и поручить его заботам искусного хирурга. Кроме того, Робеспьер, еще не выходявший из дома по болезни, пожелал лично повидаться с Крюшо, чтобы порасспросить его.

Известие, что на следующее утро нужно будет явиться к Робеспьеру на дом, показалось Крюшо ложкой уксуса после вкусного обеда. Оно значительно омрачило нежность и пылкость первого вечера, который они с Аделью проводили вместе после разлуки. Но, в конце концов, он успокоился. В нем жила непоколебимая уверенность в Фушэ, который сумеет выручить его из беды.

Поэтому Крюшо с достаточной уверенностью входил на следующее утро в кабинет Робеспьера.

Сам диктатор сидел в кресле у стола, а у окна в нежной, интимной позе стояли Ремюза и Люси, опиравшаяся на палку: с того времени, как неожиданное появление тайно любимого Ремюза вызвало в ней сильное нервное потрясение, к ней вернулось утраченное после болезни владение ногами, и девушка хоть и с трудом, но уже могла передвигаться по комнате без посторонней помощи.

При входе агента Робеспьер кинул ему «Сейчас!» и продолжал что-то поспешно дописывать. Люси продолжала говорить с Ремюза. Вдруг она равнодушно перевела взор на Крюшо, и ее спокойное, улыбавшееся лицо сразу изменилось. Щеки сильно побледнели, губы затряслись, зрачки расширились. Крюшо чувствовал, что земля уходит у него из-под ног.

Однако Люси только смотрела, но ничего не говорила, и Крюшо стал мало-помалу успокаиваться, думая:

«Быть может, ей бросилось в глаза отдаленное сходство — мало ли кто на кого бывает похож! Может быть, она даже не может вспомнить, когда и при каких обстоятельствах родились ожившие теперь воспоминания. Во всяком случае терять голову рано!»

Робеспьер кончил писать, положил перо и сказал,

обращаясь к Крюшо со своей обычной холодной улыбкой:

— Очень рад, гражданин, что тебе так быстро и убедительно удалось доказать, насколько мы были неправы, нападая на тебя в тот день! Арестом этого Птэло ты оказал громадную услугу республике, и она не забудет этого! Но скажи мне сначала, сильно ли ранен арестованный и скоро ли можно будет приступить к его допросу?

— О, нет, гражданин! — ответил Крюшо. — Его раны очень незначительны, и только из-за дорожных неудобств появилась лихорадка. Но здесь, на покое, все это...

Уже при первых звуках его голоса Люси вздрогнула и с утроенной напряженностью впиалась в него взором. Теперь же она вдруг истерически вскрикнула:

— Это — он, он! Я узнала его! Ну, теперь...

Она порывисто двинулась к Крюшо, как бы желая схватить его, удержать, не дать ему убежать; но ее неокрепшим ногам было еще не под силу такое резкое движение; она пошатнулась и упала, изо всех сил ударившись головой об угол стола.

Робеспьер и Ремюза поспешно подбежали к упавшей, которая неподвижно лежала на полу. Крюшо забыл обо всем, забыл, что он лишь компрометирует себя попыткой к бегству, что времени много, так как девушка, по всей вероятности, не скоро очнется после

такого удара. Нет, только безудержный инстинкт самосохранения заговорил в нем и он одним прыжком очутился у окна, собираясь выпрыгнуть.

Вдруг чья-то сильная рука схватила его за шиворот и резко пригнула к полу. Это Ремюза заметил попытку Крюшю и предупредил ее.

– Постой, голубчик, – прохрипел Ремюза, с бешеной яростью трясая агента за шиворот, – сначала ты ответишь нам на несколько интересных вопросов, а потом уже отправишься куда следует!

Он продолжал трясти Крюшю, словно щенка, но Крюшю не делал ни малейшей попытки высвободиться. Он чувствовал, что петля, которая уже так долго раскачивалась над его шеей, теперь окончательно захлестнулась и что пришла пора расплаты за все прошлое.

## VIII

### Личина сорвана

Когда прошла первая минута растерянности, Крюшю понял, что его единственный шанс к спасению – отмалчивание. Поэтому на все расспросы Ремюза и Робеспьера он отвечал упорным незнанием.

Почему Люси крикнула таинственное «Это – он!»? Но как же может знать он, Крюшю, что пришло в голову бешеному псовому? Почему же он хотел вырваться в

больному человеку? Почему же он хотел кинуться в окно?.. Чтобы позвать доктора?.. Но для этого существуют двери!.. Из окна ближе до калитки и улицы, а в таких случаях дорога каждая минута.

Может быть, все это и не было очень правдоподобно, но ничего другого добиться от Крюшо не удавалось. Оставалось ждать, пока Люси придет в себя и сможет объяснить свой испуг и возглас. Но доктор, приглашенный к пострадавшей, нашел ее положение очень серьезным и опасался даже, что Люси никогда не придет в себя: она ударилась так несчастливо, что, весьма возможно, последует повреждение умственных способностей.

Приходилось запастись терпением. Крюшо отправили в тюрьму, посадили в одиночную камеру и строго изолировали от малейшего соприкосновения с внешним миром.

Тем временем легкая лихорадка, которой заболел от полученных ран граф Плэло, прошла, и можно было приступить к допросу арестованного. Так как Робеспьер придавал особенно важное значение этому аресту, то и допрос он решил вести сам. Однажды утром он в сопровождении Сен-Жюста явился в комнату, где лежал Плэло.

Робеспьер был приятно поражен, когда арестованный выразил полное согласие дать самые исчерпывающие показания, никого не прикрывая.

Однако эти показания были таковы, что по мере плавного рассказа Плэло Робеспьер и Сен-Жюст изумлялись все более и более, и в результате они категорически отказались верить ему.

Если мы поясним, что Плэло в своем рассказе держался строго фактической стороны, уже известной читателю, то станет понятным, почему это показалось таким невероятным. Как отец Жером, такой искренний, убежденный республиканец, скрывает у себя крупное роялистское богатство и вручает его эмигранту по первому требованию? Не говоря уже о возмутительном факте недонесения, отец Жером дал врагам республики самое мощное оружие борьбы с нею — деньги! И это в то время, когда законом, признанным самим отцом Жеромом, все имущество эмигрантов было объявлено национальной собственностью, когда республика так нуждалась в средствах!

А дальше шло нечто уже совсем невероятное. Один из главных столпов конвента — сам Барэр де Вьезак — помог роялисту скрыться от преследований, и в награду за это отобрал у него в свою пользу все его деньги и драгоценности! Нет, это слишком неправдоподобно! Пусть Плэло придумает другую ложь!

— Господа санкюлоты, — с презрительной усмешкой ответил им на это граф Арман, — да вы меня просто умиляете! Вы оба — юристы, вы считаете себя призванными править судьбами целого народа, а между

тем вам не хватает простейшей юридической логики! Конечно, при других обстоятельствах я вообще не стал бы говорить ни слова, но отец Жером глубоко оскорбил меня, а к «честному» Барэру я тоже не могу питать добрые чувства за открытый грабеж. Поэтому я, так и быть, помогу вам, укажу, каким образом вам легко будет проверить мои показания! — Он подумал немного, перевел дух и продолжал: — Вам известно, что когда меня арестовали, при мне нашли очень немного — сравнительно, конечно — наличных денег и документов, но ни крупных сумм, ни драгоценностей при мне не оказалось. Значит, вам надо только попытаться, были ли у меня драгоценности при выезде из Парижа или нет. Если окажется, что драгоценности были, значит, я не солгал и у меня кто-то взял их. Затем вы были так любезны, что в начале допроса ответили на мой вопрос и рассказали об аресте Мари и Целестины. Конечно, трудно сказать, чем виноваты обе бедные женщины, но я знаю, что вам бесполезно говорить о сожалении. Поэтому я не буду отвлекаться и скажу только: передопросите еще раз Мари. — Целестину нечего допрашивать, так как она совсем сумасшедшая, — и девушка скажет вам, что мне не раз носили записочки, предупреждавшие об опасности, и что бежать мне помог какой-то неизвестный мне человек. Значит, вполне естественно, что если драгоценности у меня действительно были и их кто-нибудь взял, то это сделал

действительно были и их кто-нибудь взял, то это сделал тот, кто помог мне скрыться. Иначе говоря — в драгоценностях весь узел дела. Как же выяснить, были ли они у меня? Очень просто. Я сообщил вам, что они хранились у отца Жерома, но не передал некоторых подробностей. Драгоценности лежали в ларце и хранились в тайнике. Ларец по виду таков... — Плэло подробно описал сундучок и продолжал: — Мне неудобно было тащить такую тяжесть в ящике с острыми углами, и священник дал мне две корзины, в которые я и переложил свое наследство. А ларец он сунул обратно в тайник. Сходите к священнику на дом, пройдите в первую большую комнату, нажмите левый угловой шарик верхней решетки у камина, и тогда левая стенка отскочит, и вы найдете тайник и ларец. Предъявите этот ларец отцу Жерому, и ему трудно будет отвертеться от правды! Тогда он сам подтвердит вам мои слова. Ну, а раз это окажется верным, то что неправдоподобного во второй части моего показания?

Робеспьер согласился, что путь, указанный графом Плэло, — самый верный и может послужить исходной точкой розыска. Поэтому он решил пока прекратить допрос и произвести обыск у отца Жерома.

В первый момент Робеспьер хотел сам отправиться в дом священника, но он так боялся, что показания Плэло окажутся верными, что поручил сделать это Сен-Жюсту, а сам отправился домой. Там он стал с



лихорадочным нетерпением ожидать результатов. Кому же верить, если отец Жером окажется предателем? Но нет, этому Робеспьер не мог, не смел даже поверить! Они так сошлись в последнее время, у них оказалась такая общность взглядов, идей... Да и вся жизнь, вся деятельность этого святого... Нет, нет! Что угодно, но только не это!

Однако действительность оказалась еще хуже, чем ожидал Робеспьер. Не веря своим ушам, выслушал он доклад Сен-Жюста о результатах обыска. Все так и оказалось, как говорил Плэло. Нашлись и тайник, и ларец, да и отец Жером на допросе подтвердил слово в слово всю часть показаний Плэло, касавшуюся получения наследства. Правда, тут оказались обстоятельства, смягчавшие вину отца Жерома. Он действовал так во исполнение клятвы, которой не мог не дать умирающей и которую не мог не сдержать по долгу пастыря. Зато при обыске раскрылась такая вещь, для которой нет и не может быть никаких смягчающих обстоятельств. В тайнике оказалась целая пачка роялистских прокламаций, компрометирующих писем, разных списков и планов, не оставляющих никаких сомнений.

— Как, и это еще? — воскликнул Робеспьер, хватаясь за голову. — Но что же говорит по этому поводу отец Жером?

— Что же он может сказать? — с грустной улыбкой

ответил Сен-Жюст. — Только то же самое, что обыкновенно говорят все они! Он не знает, как к нему попали эти бумаги, так как не только не клал их туда, но и не видел никогда! Только разве его история с Плэло не доказывает, что хитрый поп, притворяясь убежденным республиканцем, под шумок исправно поддерживает сношения с роялистами?

— Сен-Жюст! — страдальчески прошептал Робеспьер, хватая за руки своего ближайшего друга и единомышленника. — Кому же верить после этого? Меня обвиняют в жестокости, в подозрительности! Какая насмешка! Я слишком доверчив, Сен-Жюст, слишком снисходителен! О, Жером, Жером, от тебя должен был я получить этот урок! — Он закрыл лицо руками и несколько секунд просидел в мучительной неподвижности. Затем провел рукой по лбу, словно отгоняя, стряхивая что-то с себя, и встав, заговорил обычным ледяным тоном, как будто только что не пережил одного из величайших страданий в жизни: — Значит, отец Жером подтвердил, что Плэло увез крупные деньги и драгоценности?

— Да, он подтвердил слово в слово его показание!

— Значит, и остальная часть показаний Плэло верна!

— Барэр де Вьезак...

Робеспьер прошелся несколько раз по комнате и ответил:

— Ла. это — невероятно. невозможно. либо даже.

но... чем можно теперь удивить нас с тобою, Сен-Жюст? Во всяком случае это обстоятельство необходимо проверить!

— Но как? Ведь здесь необходима величайшая осторожность, так как дело слишком щекотливо! К тому же участие Барэра кажется мне явно неправдоподобным. Зачем он стал бы называть себя? Разве он не понимал, чем рискует? Да и отлучался ли он на это время из Парижа? По-моему, кто-то просто хотел причинить ему неприятности!

— В таком случае остается одно: отправиться к Барэру и спросить его, не подозревает ли он кого-нибудь в интриге, направленной против него.

Так и сделали. Только вышло-то не совсем так. Робеспьер, несмотря на внешнее спокойствие, внутренне был слишком взволнован и не сумел облечь вопрос в надлежащую форму. А между ним и Барэром уже происходили легкие трения. Поэтому, когда Робеспьер без всяких околичностей сообщил Барэру об обвинении, вытекающем из показания Плэло, тот вскипел и потребовал немедленно очной ставки. Разумеется, Плэло не признал в Барэре того, кто являлся к нему под этим именем в Роане, но Барэр все же продолжал смотреть на все дело как на личное оскорбление со стороны Робеспьера. Он в тот же вечер забежал к своему другу и единомышленнику Било-

Варену, и тот, выслушав всю историю, сказал, качая головой:

— Да, этому господину во что бы то ни стало хочется отправить на гильотину всех нас! Пора принимать свои меры!

От Било-Варена Барэр де Вьезак убежал к другим влиятельным членам конвента, и все согласилось, что эта сказка просто придумана Робеспьером с целью кинуть тень на конвент и этим оправдать в глазах народа суровые меры, путем которых диктатор собирался избавиться от соперников.

А Робеспьер, не подозревавший, что из этого незначительного инцидента уже выпиливаются, как выразился Фушэ, «доски для его гроба», тщетно ломал голову над вопросом, как добиться истины. Но он мог придумать только следующее — отправить Сен-Жюста в Роан, где, по показаниям Плэло, его бумаги были неизвестно почему задержаны, узнать в силу чьего приказа это было сделано, а если приказ был письменный, то чья подпись стояла под ним? Может быть, хоть таким путем можно будет добраться до истины!

Сен-Жюст уехал, и на целую неделю приходилось запастись терпением. Тем временем Робеспьер ежедневно навещал Плэло и пытался из расспросов добыть хоть кончик нити. Но напрасно! Плэло не мог даже описать, каков был этот мнимый Барэр, так как

своего «спасителя» он видел только один раз, да и то в полутьме.

Однажды у Робеспьера блеснула мысль.

— А не думаете ли вы, что всю эту комедию мог подстроить сам Крюшю? — спросил он Плэло.

— Крюшю? — с удивлением переспросил Плэло. — Кто это? Я его не знаю!

— Как не знаете? Это — агент, арестовавший вас!

— Ах, так его зовут теперь Крюшю? — рассмеялся граф. — Нет, этот Иуда слишком недалек для такой интриги, которая, надо отдать справедливость, была проведена очень чисто. Да и отдельные сопоставления совершенно не подходят...

— Простите, — остановил его Робеспьер, — вы говорите, что его зовут так «теперь». А разве раньше его звали иначе?

— Ну конечно! Его настоящее имя — шевалье де Бостанкур!

— Бостанкур! — крикнул Робеспьер, невольно всплескивая руками. — Теперь все понятно!

## IX

### Развязка

Шевалье де Бостанкур, один из тех трех негодяев, которые совершили злодейское насилие над Люси! Так

вот почему несчастная крикнула: «Это — он!»

Да, теперь все было понятно. И как только раньше не пришло этого в голову ни Робеспьеру, ни Ремюза? Но Робеспьеру все еще хотелось уверенности, и на его расспросы Плэло рассказал ему следующее.

Несколько лет тому назад он был по делам в Бельгии — это было как раз в ближайшие месяцы после того, как совершилось скверное дело над Люси — и попал проездом в маленький городок Намюр. Один из знакомых австрийских офицеров пригласил его зайти в игорный дом, где предстояла потеха: собирались поучить некоего шевалье де Бостанкура. Этот молодчик вот уже второй месяц обыгрывает всех, и барон фон Унгерн хотел дать сегодня доказательства, что Бостанкур — шулер. Доказательства были представлены, и Бостанкура действительно сильно побили.

Когда Робеспьер выслушал это, участь Крюшо была окончательно решена, и хоть одно таинственное дело получило свое объяснение. Зато другому — самому главному, по-видимому, так и не суждено было раскрыться.

А между тем, быть может, Робеспьеру было бы нетрудно добраться до смелого хищника, прикрывшегося личиной Барэра, если бы он как следует сразу же взялся за Крюшо. Стоило ему только приказать подробнее допросить агента об обстоятельствах, при которых протекало отслеживание Плэло, и Крюшо непременно

бы проговорился, упомянул бы имя Фушэ, и тогда дело приняло бы совершенно новый оборот.

На первый взгляд, казалось, вполне естественным, что, распутывая тайну, окружавшую один из эпизодов бегства Плэло, надо было обратиться за дополнительными разъяснениями к тому, кто этого Плэло арестовал. Но как ни просто было подобное соображение, на первых порах оно не пришло в голову Робеспьеру, а потом было уже поздно: Фушэ тоже не дремал!

Для Фушэ, который, как уже знают читатели, вел тонкую и опасную интригу против Робеспьера, было чрезвычайно важно находиться в постоянной связи с Парижем, чтобы иметь возможность вовремя предупреждать разные нежелательные осложнения. Поэтому перед своей командировкой в Лион он позаботился организовать между Парижем и Лионом частную почту, по которой известия передавались со сказочной для того времени быстротой. Считая, что всадник на короткой дистанции может без труда сделать четыре лье в час, он разделил весь путь на пятнадцать приблизительно равных участков и в каждом посадил по доверенному лицу. Как только его главному доверенному в Париже надо было передать в Лион спешное известие, из Парижа стремглав летел всадник с эстафетой. Он сдавал эстафету человеку, дежурившему на первой станции, тот вскакивал на лошадь и летел до

второй станции, и таким образом известие почти безостановочно передавалось в Лион, прибывая туда через сутки с небольшим. Такая организация доставки стоила довольно дорого, но недаром же Фушэ, умерев, оставил своим сыновьям *только* четырнадцать миллионов франков: такой гениальный мошенник должен был оставить по крайней мере миллиард!

С помощью этой почты Фушэ очень скоро узнал, что Крюшю арестован. Это известие сильно взволновало его. Помимо опасений за целостность собственной головы, ему, как истинному художнику, было бы жалко неудачным мазком испортить уже законченное великое произведение. Все так хорошо сложилось, и с таким успехом сбылись все предначертания Фушэ! Отец Жером арестован и будет осужден: этим Робеспьер лишается нравственной опоры, так как после «измены» отца Жерома подозрительность диктатора должна непременно возрасти и приблизить его к гибели. Барэр де Вьезак оскорблен тем, что его имя замешано в деле, и сумел взволновать весь конвент, так что Фушэ по возвращении в Париж уже нетрудно будет увеличить ряды своих тайных приверженцев. И вдобавок ко всему этому – целое состояние в виде премии! Как все хорошо сложилось! И вдруг неожиданный, непредвиденный арест Крюшю грозил испортить все. Нет, это надо было предупредить во что бы то ни стало.

Фушэ тут же решил, что надо выкупить Крюшю



Фушэ тут же решил, что надо впустить Крюшю уверенность в спасении, отнюдь не спасая его, однако: к чему оставлять лишнего бесполезного свидетеля? Кроме того, необходимо было ускорить казнь обвиняемых, так как – кто знает? – возможны всякие осложнения. Вдруг конвент вызовет Фушэ для чего-нибудь в Париж, и Плэло признает его?

Фушэ передал своему парижскому агенту все детальные инструкции, и они были в точности соблюдены. Крюшю получил весточку, что его друг стоит на страже и что спасение обеспечено. Время от времени он продолжал получать такие ободряющие весточки, и это вернуло ему надежду. Разве Фушэ не доказал уже своего всемогущества? О, он спасет его из-под самой гильотины!

Поэтому, когда Сен-Жюст вернулся ни с чем из поездки в Роан и Робеспьеру пришла запоздавшая мысль допросить Крюшю, от него уже ничего нельзя было добиться. К тому же агенты Фушэ симулировали несколько раз попытки освободить Плэло, и Робеспьеру пришлось решить ускорить суд, не дожидаясь, пока будет выяснен один из героев этой темной истории.

В самом ближайшем времени состоялось заседание революционного трибунала. Скамью подсудимых заняли: безумная старуха Целестина, отец Жером, юная Мари, ее жених – наивный солдатик Огюст Лекорню, граф Плэло и цевалье де Бостанкур. Процесс отличался

краткостью. Илэло отказался отвечать на вопросы, заявив, что не признает за какими-то голошпанниками права судить его. Отец Жером подтвердил в нескольких словах свое первоначальное показание и отказался от дальнейшей защиты. Бостанкур-Крюшо отвечал краткими «да» и «нет», ничего от себя не прибавляя. Мари и Огюсту было нечего говорить и не в чем защищаться. А Целестина совершенно не понимала, где она и что с ней происходит.

В восемь часов утра процесс начался, в девять всем обвиняемым был вынесен смертный приговор, а сама казнь должна была состояться через два часа.

Был чудный солнечный день. Легкий морозец подсушил грязь и придал улицам более нарядный вид. Со всех сторон на площадь стекались жадные до любимого зрелища зрители. На деревянном помосте у гильотины копошились палачи, а вокруг этого страшного орудия весело порхали птички, воссылавшие ликующие гимны к безоблачным, кротким небесам.

Осужденных ввели на помост. Первой была очередь старухи Целестины. Безумная никак не могла понять, что от нее требуют, и долго не соглашалась положить голову на плаху, пока рассерженный ее упорством палач не схватил ее за седые волосы и при гомерическом хохоте зрителей не толкнул ее под гильотину. Старуха упала, но так неудобно, что только в два приема удалось отделить ее голову от высохших,

изможденных плеч.

Мари и Огюст слились в последнем поцелуе, в котором уже не было ничего земного. Глубокая скорбь читалась в глазах отца Жерома, когда он смотрел на юную парочку. Но палач спешил. При новом взрыве зрителей палач схватил солдатику за плечи и приказал ему приготовиться. Какой-то досужий остряк из толпы звонко крикнул:

– Ну-ка, брат, поцелуйся-ка теперь с тетушкой гильотиной!

Эта шутка была тоже покрыта одобрительным смехом толпы.

Увидев, что ее возлюбленного тащат под нож, Мари дико вскрикнула и сделала движение, готовая кинуться к нему. Один из помощников палача грубо схватил ее за плечи и так сжал, что лицо девушки потемнело от боли. А все тот же досужий остряк из толпы крикнул:

– Не торопись, красавица! Не всем же сразу! Погоди, успеешь и ты! Тетка гильотина никого не обижает!

Да, добрая «тетушка-гильотина» никого не обидела! Щелкнул нож, и вслед за головой Огюста в корзину полетела голова Мари. Пришла очередь отца Жерома.

Привычным жестом священника отец Жером благословил толпу. По рядам зрителей пробежала волна недовольства. послышался протестующий гул голосов:

– Уберите эту обезьяну, что он колдует! Он нисылает на нас несчастья!

– Господи! Прости им! Не ведают, что творят! – страдальчески взмолился отец Жером, повторяя крестную молитву Спасителя, и покорно положил голову на плаху.

С надменной, пренебрежительно улыбкой подошел к гильотине граф Арман Плэло. И столько обидного презренья, столько дерзкого вызова было во всей его фигуре, что толпа зрителей взвыла, может быть, только теперь почувствовав, что из всех казненных лишь этот – ее действительный, исконный, прирожденный враг...

Крюшо, стоявший последним в этой страшной очереди, не смотрел на казнь. Его взгляд с безумной смесью отчаяния и надежды бегал по толпе, густо обступившей помост. Вдруг он увидел Гаво, стоявшего в первом ряду и смотревшего на него со спокойной, ободряющей улыбочкой. Вся кровь хлынула в голову Крюшо, он даже зашатался от волнения. Гаво здесь, он так спокойно стоит, так весело улыбается! Значит, помощь близка, значит, не о чем и беспокоиться!

Вдруг он почувствовал резкий толчок в бок.

– Ну ты, поторапливайся! – грубо крикнул ему палач, хватая за руку и подтаскивая к гильотине.

И вдруг сразу Крюшо понял все – понял, что не ждать ему пощады от Фушэ, что его обещания были

сплошной комедией, что Фушэ только и надо было, чтобы он не проговорился.

— Пойдите! — отчаянно крикнул он упираясь. — Я все скажу теперь, я...

— Ладно! Рассказывай на том свете, что хочешь! — грубо оборвал его палач и подтащил под нож.

Один нажим рычага — и голова Жозефа Крюшю-Бостанкура свалилась в ту же корзину, в которой уже валялись пять других голов. У корзины узенькой полоской тянулась кровавая лужа, от которой тоненькой струйкой к морозным небесам поднимался пар. Толпа медленно расходилась. Палач с помощниками деловито чистил и смазывал гильотину. Правосудие восторжествовало.

Когда Фушэ вернулся из Лиона, ему был устроен торжественный прием. Ведь ценою многих, очень многих ведер крови он восстановил в Лионе спокойствие, и каждая отрубленная голова была лишним лучом в его патриотической славе. Конвент декретировал ему благодарность за понесенные труды, клуб якобинцев избрал его своим председателем.

В один из первых дней по приезде Фушэ разыскал и навестил «вдову» казненного Крюшю. Карающий меч республиканского правосудия пощадил ее — по забывчивости ли или из уважения к Гаспару Лебефу, но Робеспьер не поднял вопроса о привлечении ее к суду,

хотя налицо была такая тяжкая вина, как близость ее к Крюшо: ведь казнили же солдатику Огюста Лекорню лишь за то, что он был женихом Мари Батон. Но Адель отнюдь не питала за это особой благодарности к Робеспьеру. Даже наоборот — эта неблагодарная говорила о мести и возмездии. Поговорив с нею каких-нибудь четверть часа, Фушэ ушел, с довольным видом потирая руки. Ни один козырь не пропадал даром в его сложной игре. Даже непредвиденная казнь Крюшо должна была принести обильную жатву!

Совершая далее свой обход, Фушэ зашел к Било-Варену и Въезаку, поговорил с ними о «прискорбном инциденте, в котором Робеспьер не побоялся замешать имя такого безукоризненного гражданина», будто вскользь кинул, что Робеспьер категорически высказал необходимость «почистить конвент, в котором завелось много вредных насекомых», посетовал о том, что «в такое трудное для государства время никто не может ручаться за целостность своей головы», и ушел, оставив обоих в сильной тревоге.

Встретив на улице Сипьона Ладмираля, Фушэ довел его до неистовства, поддразнивая тем, что Робеспьер из-под самого носа юноши увел Терезу Дюплэ, а зайдя потом в кабачок папаши Рено, он со скорбной миной пожалел «бедную Терезу», которая приходит в полное отчаяние от холодности Робеспьера.

— Впрочем, — прибавил он, исподтишка любясь, как

вспыхивают глаза пламенной Сесили, – вот уж верно говорится, что «если кто-нибудь плачет, то другой тому же радуется»! Встретил я Ладмираля и подивился даже! Ожил совсем, молодчик! Видно, ему Тереза подала надежду. Да и то сказать: что ей ходить за Робеспьером, раз под рукой у нее имеется такое преданное, верное сердце.

И ходил, и ходил этот хитрый паук по Парижу, повсюду распуская свою паутину, в которой суждено было запутаться самому Максимилиану Робеспьеру!

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ, в которой Максимилиан Робеспьер тщетно старается распутать окутывающую его паутину**

### **I Ход событий**

Десятого ноября празднество в честь Разума все-таки состоялось, хотя и не при такой скандальной обстановке, на которую рассчитывал Фушэ. В соборе

Парижской Богоматери было устроено торжественное гражданское богослужение, во время которого стройный хор пел гимн на слова известного поэта Шенье и музыку Госсе. Богиню Разума изображала даровитая артистка Майльяр. Одета она была в белое платье, голубой плащ и красный фригийский «колпак свободы». Народ на триумфальной колеснице доставил ее в юнвент, где «богиню Разума» торжественно приветствовал именем французского народа президент конвента.

Все это было очень невинно, вполне прилично и даже красиво. Богохульства тут тоже еще не было, потому что это празднество выражало собой не противорелигиозное, а лишь противокатолическое движение. Франция слишком много натерпелась от католического духовенства, которое традиционно отстаивало не народные, а свои и дворянские права. Но по форме все празднество напоминало прежние духовные игрища, совершавшиеся в церквях и на папертях с музыкой и драматическим действием, в котором Иисуса Христа, Деву Марию и прочих библейских персонажей представляли актеры, как теперь «богиню Разума» представляла актриса. Цель празднества была следующая: Франция хотела показать, что вместо *традиции*, правившей прежним государственным строем, в новом все будет нормироваться *Разумом*, и если бы республике действительно удалось сделать Разум своим богом, то



история великой французской революции стала бы величайшими скрижалями мира. Но так как истинным богом Франции того времени была необходимость, зачастую ложно понятая, то все это обожествление Разума приобрело характер наивной, ребяческой буффонады.

Однако празднество взволновало Робеспьера несравненно более, чем даже рассчитывал сделать это Фушэ приданием торжеству оргиастического характера.

Для этого у диктатора было много причин. Прежде всего инициатива исходила от коммуны, а Робеспьер был уже серьезно озабочен той независимостью, которую все более старалась подчеркивать парижская коммуна по отношению к конвенту. Затем Робеспьер отлично учитывал, что младшие агенты власти неизбежно окажутся «более монархистами, чем сам монарх». Действительно необразованные, грубые конвентские комиссары в департаментах усмотрели в празднестве призыв к решительной борьбе против религиозных верований. До чего доходило их «рвение» в этом отношении, может дать понятие хотя бы такой факт: эльзасец Рауль собственноручно разбил сосуд с миром, принесенный, по преданию, голубем с неба святому Реми для коронования короля Хлодвиги.

Робеспьер с ужасом смотрел на эти крайности, возмущаясь и как политик, и как ревностный христианин. Вель в самый разгар террора благодаря ему

аристократии. Даже в самые разгар террора благодаря ему в католических церквях не прекращались богослужения, а в соборе Парижской Богоматери постоянно совершались богослужения за его здоровье. Робеспьер стал произносить громовые речи против атеизма, но, словно издеваясь над ним, — коммуна ответила на эти выступления постановлением о закрытии всех церквей в Париже.

Тут Робеспьер понял, как он в сущности одинок и как шатка та власть, на которую он думал опереться, а отсюда проистекала необходимость изыскать новые меры к ограждению этой власти.

Робеспьер напрасно ломал голову — он не мог найти никаких других мер, кроме усиления террора. Вокруг него царят распущенность, алчность, честолюбие, все преследуют свои личные, эгоистические цели, и никому нет дела до высоких идеалистических стремлений идейных вдохновителей переворота. При таких условиях он не мог допустить, чтобы все эти темные силы прикрылись щитом конституционных гарантий. Для установления истинного народоправия было еще слишком рано, конституции надо было сначала расчистить место кровью и железом. И, искренне скорбя душой об этой необходимости, Робеспьер должен был признать в своем бессилии сделать что-либо без усиления репрессий.

Но ему грозила опасность с новой стороны: в

Париж спешил популярный и влиятельный трибун — Дантон, который открыто ополчился против чрезмерной ретивости обоих комитетов (общественного спасения и общественной безопасности) и собирался разрушить их могущество.

Для Жоржа Жака Дантона история изготовила особый штамп, который постоянно прикладывался к его имени, и уже сколько исторических писателей, говоря о нем, неизменно называли его: «безнравственный, но талантливый Дантон». Был ли он действительно безнравствен? Для подобного утверждения не имеется ни малейших документальных данных. Враги обвиняли его в организации сентябрьских убийств, но факты доказывают, что Дантон не только не принимал участия в этом проявлении временного умопомешательства народных масс, но даже был бессилён предупредить и сдержать народ. Его обвиняли в подкупности и растратах народных денег. Привел ли кто-нибудь доказательства этому, легло ли в основу подобного обвинения что-нибудь, хоть на йоту превышавшее обычную злоречивую сплетню? Нет! Но это не помешало потомству заклеить память Дантона дурной славой. Что же делать, и у истории бывают свои пасынки, и ее суд не всегда справедлив и нелицеприятен!

Жорж Жак Дантон происходил из уважаемой провинциальной семьи юристов. Он родился в 1759

году, готовился в Париже к адвокатуре и принимал горячее участие в масонстве. По политическим убеждениям он был первоначально «постепеновцем», верил в возможность проведения благотворительных реформ сверху и не одобрял насильственных, резких переворотов. Но жизнь с каждым днем предоставляла ему наглядные доказательства того, что от слабовольного Людовика XVI нечего ждать добровольных уступок народным требованиям, что при настоящем положении вещей отстаивать постепенную, медленную эволюцию государственного строя – значило самому рыть могилу своим идеалам.

С характерной для себя трезвостью Дантон отрекся от взглядов, неправильность которых осознал, и полностью отдался революционной деятельности. При этом, когда в 1791 году была уничтожена занимаемая им должность адвоката при совете короля, Дантон, чтобы оставаться совершенно свободным, не принял на себя никакой другой.

Ему удалось очень скоро выдвинуться, и Франция была сильно обязана Дантону умелой остановкой борьбы против роялистов и коалиции. Выбранный депутатом в конвент, Дантон сделал очень много для упорядочения внутреннего положения, насколько это было возможно при тогдашнем хаосе. Между прочим, он выработал и предсказал тот путь, по которому, как политик (не как завоеватель) повел впоследствии

Францию Наполеон.

Подобно Робеспьеру, Дантон требовал решительных террористических мер, но в этом отношении сходство между ними было лишь поверхностным. Ведь Дантон обладал истинным государственным умом, тогда как Робеспьер был ограничен, как всякий настоящий фанатик. «Максимилиан Великий», как иронически называли Робеспьера враги, был безусловно честен и высоко добродетелен, но своей добродетелью он чрезмерно кичился, придавая ей слишком большое, совершенно не соответствующее значение. Он скорбел о внутреннем неустройстве Франции, но о пороках сограждан скорбел еще больше и считал себя призванным исправить нравы. Однако для последнего надо было больше времени и способностей, чем те, которыми располагал Робеспьер. Вот почему в своем бессилии он и обращался исключительно к обычному оружию прежнего строя — казням, не понимая, что вакханалия кровавых мер лишь растлевает нравы, а не облагораживает их. Нравы граждан всегда определяются их общественным устройством и политическим режимом. При кровавой диктатуре Робеспьера трудно было ожидать высоких проявлений общественной добродетели. А он все усиливал оргиастическое напряжение управляемого им кровавого пира, окончательно запутываясь в этом

заколдованном кругу.

Иначе обстояло дело с Дантоном. Признавая, так сказать, «педагогическое» значение яростного террора для общественных масс в момент полной анархии, он видел в нем лишь временное средство, лишь паллиатив, от которого неизбежно надо было как можно скорее переходить к радикальному исцелению. Он не гнался за чистотой нравов, не хотел никого исправлять и думал лишь об устройении государства. И насколько Робеспьер был человеком кабинетной мысли, настолько Дантон был общественным деятелем.

Но как ограниченный честный фанатик, Робеспьер был твердо уверен, что только он и может вывести Францию на надлежащий путь. Поэтому всякий человек, способный вырвать у него кормило власти, казался ему государственным преступником, от которого было необходимо избавиться. Дантон с его призывом к умеренности, с его популярностью и способностью увлекать толпу страстным красноречием прирожденного оратора всегда казался Робеспьеру опаснее всех Робеспьеру, потому что его целью было укротить кровожадность комитетов спасения и безопасности. Робеспьер занес его мысленно в свой проскрипционный список, но решил подождать: в данный момент Дантон был нужен, его надо было сначала использовать!

В первое же свидание с Дантоном Робеспьеру удалось установить с ним общие точки зрения. Дантон

согласился, что путь, по которому увлекают Францию геберисты, поведет только к упрочению анархии. 26 ноября 1793 года он произнес громкую речь в конвенте против «религиозных маскарадов». Вскоре по его настоянию власть парижской коммуны была ограничена и усилена центральная власть конвента. 6 декабря было постановлено запретить все действия, направленные против свободы богослужения. Затем началась чистка клуба якобинцев: по настоянию Робеспьера оттуда исключили Анахарсиса Клотца, Шюмета, Гебера и некоторых других.

Тем временем французской армии удалось одержать несколько существенных побед. Великая вандейская армия была уничтожена Марсо и Клебером, после битвы при Гейсберге (26 декабря) французы вступили в австрийские пределы. Таким образом и с внешней стороны дела пошли настолько хорошо, что можно было бы приняться за правильное государственное строительство.

Дантон открыто говорил, что теперь, когда вандейцы побеждены и границы очищены от неприятеля, ничто не может оправдать продолжение террора. Но Робеспьер и не думал отказываться от исключительных мер. Останется ли он у власти, если в действие будет приведена отсроченная прежде конституция? Конечно, нет! Ну, а потеря власти для Робеспьера означала отказ от мысли исправить нравы

сограждан. Нет, он не мог оставить втуне миссию, для которой чувствовал себя рожденным и призванным свыше!

Но Дантон продолжал теснить Робеспьера, желая во что бы то ни стало проникнуть в действующий правительственный состав. В декабре истек срок полномочий комитетов, и надо было объявить новые выборы. Однако Робеспьер настоял на продлении комитетских полномочий, предупредив таким образом избрание Дантона, которое непременно состоялось бы.

Вот при каких обстоятельствах наступал 1794 год. Против Робеспьера восстали гебертисты и дантонисты. В распоряжении первых была газета «Отец Дюшен» — низкий, вульгарный уличный листок, требовавший самых крайних, решительных мер; в распоряжении вторых — газета «Старый Кордельер» талантливого Дюмулена, требовавшая умеренности и законности. Таким образом сбылось предсказание Фушэ, что Робеспьеру неминуемо придется очутиться в самом фальшивом положении между крайними и умеренными!

Положение Робеспьера было тем труднее, что в сущности он никогда не отступал от законности. В его глазах закон олицетворялся конвентом и выражался декретами последнего. Добиваясь того или иного декрета, Робеспьер действовал исключительно убеждением, доказательствами, никогда не прибегая к



насилию. Его смерть — лучшее доказательство тому. Когда закон в лице конвента отвернулся от Робеспьера, он предпочел взойти на эшафот, но только не прибегать к перевороту, как силе незаконной. А ведь Робеспьеру стоило только кликнуть клич, и нашлись бы десятки тысяч людей, готовых отбить его у врагов! В этом отношении Робеспьер являет собою единственный во всей мировой истории пример тирана, добровольно подчинявшегося закону!

Но именно поэтому было так затруднительно положение Робеспьера в это время и с такой тревогой встретил он грозный — и для него, и для многих — 1794 год!

Теперь, окинув беглым взглядом нарастание событий к этому времени, вернемся к нашему повествованию.

## **II**

### **Две женщины**

Мы расстались с Люси Ренар в тот момент, когда, крикнув: «Это — он, он!», девушка пошатнулась и упала, сильно поранив голову об угол стола.

Много тревожных дней и ночей пережили Робеспьер и Ремюза у кровати больной, ловя каждый проблеск сознания. Наконец период мучительной неизвестности миновал. Доктор признал свою ошибку:

глубокое волнение, пережитое девушкой нравственное, а не физическое потрясение послужили причиной болезни. Теперь надо только запастись терпением; полный покой и заботливый уход изгладят все последствия.

В заботливом уходе недостатка не было. Ремюза и Тереза безотлучно находились при больной, и каждый раз, когда Люси на минуту приоткрывала глаза, она встречалась с полным любовной тревоги взором любимого.

Мало-помалу периоды просветления становились все чаще и продолжительнее, но все же выздоровление продвигалось очень медленными шагами.

На это время Ремюза совершенно отстранился от всякой общественной деятельности: весь мир замкнулся для него в тихой комнатке, где лежала любимая девушка, и события протекали где-то вдали, не волнуя его и не задевая воображения. А между тем эти события волновали не только Париж и Францию, но и вызывали гул возмущения во всей Европе.

Оргия кровавого пира разгоралась все шире и шире. 16 октября 1793 года казнили Марию Антуанетту, 31-го – жирондистов в количестве двадцати одного человека. Среди них умерли: Верньо, Жансоне, Валазе, Фонфред, Дюко – целая плеяда светлых мыслителей, умер Бриссо, посвятивший последние дни своей жизни составлению мемуаров об освобождении негров епископ Фолле

мемуаров об освобождении Петров, Спасский-Фонс, первый присягнувший гражданскому уложению о духовенстве, и многие другие.

8 ноября на эшафот взойшла госпожа Роллан, убежденная республиканка, женщина большого ума и сердца, царица политического салона, куда стекались лучшие умы. Умирая, она воскликнула:

– О, свобода! Сколько преступлений творится во имя твое!

Смерть жены не мог перенести Жан Мари Роллан, тоже осужденный, но скрывавшийся. Не желая навлекать преследования на своего хозяина, Роллан покончил с собой на улице. При нем была найдена записка следующего содержания:

«Кто бы ни был ты, нашедший меня, ты должен оказать уважение моему праху, ибо это – прах добродетельного человека!»

11 ноября, на другой день после «празднества в честь Разума», на эшафот повезли Байльи, талантливого литератора и астронома, парижского мэра после взятия Бастилии, первого президента национального собрания. В этот день было очень холодно, и старика – Байльи было пятьдесят семь лет – охватила дрожь.

– Ты дрожишь? – насмешливо кинул ему один из присутствующих.

– Друг мой, это – от холода, – просто ответил осужденный. И ведь все это были выдающиеся, честные,

глубоко патристически настроенные люди. Да, можно было подумать, что наступила эпоха реставрации, что роялисты мстят казнями всем тем, кто поднял в 1792 году знамя народоправия.

А сколько мелких, сереньких, незаметных людей погибли наряду с этими выдающимися умами! Сатана мог быть доволен. Франция захлебывалась в потоках крови.

Но все эти страшные события текли, не задевая и не волнуя Ремюза. Его глаза видели только Люси, его уши слышали только ее бред и стоны; когда по временам Робеспьер говорил ему о своих делах и затруднениях, о прибытии Дантона, о союзе с ним, о борьбе с геберистами, о начавшихся трениях с дантонистами, Ремюза, выслушав, сейчас же переводил разговор на Люси и ее болезнь, вне чего для него не было жизни.

Наконец болезнь была побеждена, и Люси уже могла понемногу вставать и прохаживаться по комнате. И какая светлая, радостная награда ждала Ремюза за его преданность и заботы!

Еще тогда, когда Робеспьер привел его в день оправдания к себе домой и при виде тайно любимого Люси испытала такое сильное потрясение, которое вернуло ей обладание парализованными членами, Ремюза понял, что все время нежный образ Люси неотступно ласкал его сердце тихой мечтой. Молодые люди объяснились, поведали друг другу о своем чувстве,

но... тем дело и кончилось. На просьбу Ремюза стать его женой Люси ответила категорическим отказом. Она считала себя опозоренной, обесчещенной печальным эпизодом своей юности, и, как ни уверял ее Ремюза, что насилие позорит и бесчестит лишь насильника, но не жертву, девушка продолжала стоять на своем. Но теперь болезнь растворила твердость воли Люси, и когда Ремюза, смеясь и рыдая, схватил ее в свои объятия, говоря, что отвоевал себе жену у смерти, у девушки не хватило духа повторить свое вечное «нет», и она должна была дать согласие.

Теперь наступила полоса полного, безмятежного счастья. Выздоровление девушки пошло гигантскими шагами вперед, в конце марта 1794 года мы уже застаем ее на балконе вместе с Терезой Дюплэ. Счастливая невеста старательно шила себе приданое, а Тереза рассказывала ей о событиях последнего времени.

— Если бы ты знала, Люси, какое тяжелое время пережил Максимилиан, — говорила она, мечтательно устремляя взор черных глаз к пышно распускавшейся зелени сада. — Ты-то лежала себе в своей комнатке, не имея ни о чем понятия, а я порою приходила в полное отчаяние. По временам казалось, что все-все кончено и что Робеспьеру не справиться со всей сворой насевших на него собак. И опасность еще усилилась, когда на заседании пятого февраля — или, по-нынешнему, семнадцатого плювиоза — он открыто дал отпор обеим

враждебным партиям. Ах Люси, как хорош был он, когда, сверкая глазами, произнес свои знаменательные слова: «Среди вас образовалось два течения, из которых каждого достаточно, чтобы погубить Францию. Одно из них толкает нас к слабости, другое — к крайностям. Представители одного течения хотят превратить свободу в распущенную вакханалию, представители другого стремятся проституировать ее! Только террор способен вывести Францию из омута этих враждебных течений. Но террор не есть разнузданность власти, как думают некоторые из вас, это — лишь быстрое, суровое и непреклонное правосудие!»

— Правосудие! — вздохнула Люси, и ее нежное лицо омрачилось скорбной улыбкой. — Разве для торжества правосудия так уж нужно было казнить хотя бы милую госпожу Роллан?

— Полно, Люси!.. — сурово ответила Тереза. — Если ты спешишь на помощь к умирающему и тебе попадетсЯ под колесо камешек, ты откинешь его в сторону, будь то булыжник или ценный бриллиант! Все, что становится на пути к великой цели, должно быть устранено! Но в том-то и трагедия Робеспьера, что даже самые близкие ему люди не понимают его... Однако слушай дальше. Вскоре после этого и Максимилиан, и Кутон заболели, а Сен-Жюст был в Эльзасе. Вот-то обрадовались в конvente! Дюмулен в своем «Старом Кордельере» дошел

до невероятных границ наглости; он открыто называл Робеспьера «выдохшимся» и требовал, чтобы его «убрали». Но вот в начале вантоза вернулся Сен-Жюст, и тогда все эти голубчики почувствовали, где жареным пахнет! Конечно, первым делом надо было обуздать дантонистов, желавших помешать конвенту очистить Францию от вредных людей. Он так-таки им и выложил: «Общество должно очищаться, а кто мешает ему в этом, тот развращает его. Развращая же — разрушают. Хотите ли вы быть разрушителями Франции или хотите видеть ее великой и свободной?» Кто-то заикнулся было, что государство может быть сильным и свободным без таких исключительных мер и что бесчеловечность теперешнего режима превышает все, что было прежде. Тогда вступился Робеспьер и произнес громовую речь против иллюзий, которые хотят внушить гражданам относительно их бесчеловечности. В то время как революционный трибунал казнил в течение года триста злодеев, королевский суд казнил ежегодно свыше двадцати тысяч. Во всех европейских государствах и теперь казнят не меньше, чем во Франции, но только там дело обделывается без шума. Неужели же граждане из пустых сентиментальных иллюзий воспротивятся необходимому очищению?

— Ну, и конечно, «граждане приступили к очищению»... по рецепту дяди Макса? — с грустной иронией спросила Люси.

– Да! Четырнадцатого марта геберисты были арестованы, третьего дня<sup>[10]</sup> их казнили... Но что же делать? Если бы Робеспьер верил, что Францию может вывести на правильный путь не он, а Гебер или Дантон, он добровольно отстранился бы и уступил бы место кому-нибудь из них. Но раз Максимилиан сознает, что спасти отечество может только он один, было бы бесчестно с его стороны не принимать мер к защите своей власти!

– Все это, может быть, и так, но... Тереза, да неужели тебя саму не пугает этот кровавый поток, который все шире и шире заливает Францию? Ты говоришь, что эта кровь нужна для спасения родины... Но что такое «родина», «Франция»? Неужели это – только кусок земли, только понятие? Ну, а мы с тобою, сам Робеспьер, его друзья – входим ли мы все в состав Франции? Ведь да? Так не страшно ли думать, что ради нашего спокойствия и счастья нужно убить стольких людей? Нет, Тереза, печальны те спокойствие и счастье, которые зиждутся на крови... Знаешь, по временам мне невыносимо думать, что дядя Макс, мой милый, добрый, любимый дядя Макс, и Максимилиан Робеспьер, ненасытный, кровожадный диктатор – одно и то же лицо! Но ты все равно не поймешь меня... Так не будем же говорить об этом. Скажи мне лучше, как обстоят твои личные дела с дядей?

На лице Терезы отразилось страдание. Она провела



...и... Тереза...  
рукой по лбу и волосам и глухо ответила:

— Как же они могут обстоять? Все так же, Люси, все так же... Тогда — ты помнишь? — луч света мелькнул мне, и Максимилиан сказал, что попробует, быть может, личное счастье не помешает ему, как гражданину и патриоту... Но это была лишь краткая минута слабости. Его сердце опять замкнулось в суровую броню долга, и нет в этом сердце места для несчастной Терезы. Сколько раз я валялась у его ног и страстно молила: «Возьми меня! Пусть я буду твоей собакой, бегущей на свист хозяина и робко прячущейся в угол, когда хозяину не до нее! Пусть я буду только ковриком для твоих ног! Попри, растопчи меня, только возьми! На что мне жизнь, честь, стыд, раз вне тебя нет для меня существования? Максимилиан, я не могу долее жить так! Или возьми, или убей меня!»

— А он?

— А он?.. Он погладит меня по голове, да и скажет: «Потом, Тереза, потом: сейчас не время думать о себе... Скоро мне удастся упорядочить дела страны, тогда мы обвенчаемся, и ты станешь моей милой женушкой!» Напрасно я говорю ему, что не гонюсь за формой, что хочу теперь же вполне слиться с ним, чтобы быть для него опорой, отдыхом, теплом, он каждый раз уклоняется от решительного ответа, говоря: «Хорошо, хорошо, Терезочка, мы еще поговорим с тобою об этом, а

теперь ты... того... уиди, потому что у меня спешная работа». А ведь он любит меня, Люси, я знаю это! Он весь преображается, когда видит меня, и только наедине со мною он – обычно твердый, суровый, непреклонный – порой превращается в слабого, усталого человека! Да, ты счастливица, Люси! Твой Ремюза все бросил, как только ты заболела, он...

Тереза вдруг прервала свою речь тихим возгласом испуга: над забором показалась чья-то голова.

Это был Сипьон Ладмираль. Прежде у него было бледное, тонкое лицо с наивными, немного грустными голубыми глазами, но теперь его лицо обращало на себя внимание типичной для пьяниц одутловатостью, а растрепанные волосы и налившиеся кровью глаза придавали ему зверский, разбойничий вид. Видно было, что юноша сильно пьян. И все же налившиеся кровью глаза были с выражением бесконечной любви устремлены на Терезу. Но, увидев, что он замечен, Ладмираль резко расхохотался и исчез за забором.

– Несчастный! – сочувственно сказала Люси.

– Несчастный? – с негодованием воскликнула Тереза. – Негодяй, а не несчастный! Пьянствует, развратничает, добился того, что его со службы выгнали, а его бедная мать сидит без хлеба!

– Но ведь это он из любви...

– Из любви? Хороша любовь, нечего сказать! Уж не хочет ли он пленить меня таким приятным видом и

поведением?

— Как ты безжалостна, Тереза!.. Разве не жаловалась ты сама только что на холодность дяди Макса?

— Да как ты можешь даже сравнивать то и это? Мы с Максимилианом любим друг друга, и я жаловалась на его холодность, на то, что узко понимаемое чувство долга заставляет его, а вместе с ним и меня, страдать, отказываясь от высшего блага на земле — полного единения с любящим человеком. Но разве, страдая от холодности Максимилиана, я перестала быть человеком, как этот пьянчужка? А потом нас с Ладмиралем никогда ничего не связывало. Ведь любил же он прежде Сесиль Рено и Сесиль платила ему такой же нежностью! Что же заставило его бросить ее? Ведь несчастная девушка выплакала все глаза... По правде сказать, не особенно-то я ее долблюю — у меня при виде нее всегда рождается какое-то непонятное чувство смутной тревоги. Но что правда, то правда, и Сипьон очень скверно поступил с нею. Она жизнь готова была бы отдать, лишь бы он ласково взглянул на нее, а он... Ну да! Когда ему приходится уж очень плохо, тогда он идет к Сесили и ищет у нее сочувствия... негодяй!

— Ах, как странно, как непонятно устроена жизнь! — сказала Люси вздыхая. — Целая сложная цепь... Сесиль Рено тоскует по Ладмиралу, Ладмираль — по тебе, ты — по дяде Макс... А как просто могла бы разорваться эта цепь, если бы только Ладмираль излечился от своей

губительной страсти к тебе и вернулся к Сесили, которая дала бы ему полное счастье!.. Но — нет — непонятны пути Того, Кто правит миром. Однако ты напомнила мне о старухе Ладмираль! Надо навестить бедную и снести ей чего-нибудь! — и с этими словами, сложив работу, Люси пошла в дом.

### **Ш**

## **Блудный сын**

Положив в корзину хлеба, холодного мяса, бутылку вина и баночку какой-то очень целебной мази от ревматизма, Люси направилась к дому, где доживала в болезнях, бедности и горе старуха Ладмираль.

Люси шла хоть и медленно, но довольно легко, и только некоторая связанность и неуверенность движений еще свидетельствовали о перенесенной девушкой болезни, от которой она избавилась почти чудом.

Стояли чудные дни, полные весенней неги. На улицах было пыльно, грязно, дурно пахло, но вдруг, неведомо откуда, набегал ветерок, напоенный ароматом творчества природы, пронизанный запахом трав, листьев и почек. И тогда к сердцу подступала мягкая, ласкающая, разнеживающая волна, и хотелось плакать неведомо почему, хотелось неведомо чему смеяться.

Люси шла, глубоко задумавшись о себе, Терезе, Ладмирале. Как мало нужно людям для счастья, и все же как редко счастье у людей! А если и приходит оно, то какой дорогой ценой, какой цепью мук и страданий достается оно! Вот, например, она сама, Люси. Она счастлива теперь. А какой ценой куплено это счастье? Как только не поседела она за те страшные дни, когда счастье было так близко, а совесть не позволяла протянуть к нему руку! Теперь все это миновало... слава Богу! Да оно и лучше. К чему портить себе жизнь излишней мнительностью, к чему?..

– Привет счастливой невесте!

Люси вздрогнула от неожиданности, подняла глаза и увидела лисью мордочку Фушэ, высунувшегося из окна второго этажа дома, мимо которого она проходила, и кинувшего ей это приветствие.

Люси никогда не могла видеть Фушэ без чувства почти суеверного страха. В первый же раз, увидев его, она невольно вспомнила маленькую старинную церковь в Аррасе, где в притворе были изображены семь смертных грехов и адские муки. Дьявол, заманивавший грешников в свои сети, был удивительно похож лицом на Фушэ, и девушка никак не могла отделаться от признаваемой ей же самой за совершенно вздорную мысли, что в этом человеке действительно заключена часть темной, демонической силы. Поэтому-то ее всегда охватывало тягостное чувство при встречах с Фушэ, а

теперь его приветствие, кинутое ей как раз в самый разгар нежных дум о счастье, показалось ей зловещим предзнаменованием грядущей беды. Девушку охватил такой ужас, что, не отвечая на приветствие, она съежилась и припустилась, как только могла, дальше, слыша, как вдогонку ей несется язвительный смех. Но до домика, где жила старуха Ладмираль, было недалеко. Слава Богу, вот и дворик... Наконец-то!.. Люси облегченно вздохнула.

Несмотря на адские боли в ногах, старуха Ладмираль все же сползла с кровати и пыталась дрожащими руками убрать пыль и грязь. Ведь несчастная женщина не привыкла к такой обстановке! С мужем она жила хоть и без роскоши, но в полном довольстве, а потом кроткий, ласковый, работающий Сипьон делал все, чтобы пригреть догорающие дни старой матери, пока на него палящим вихрем не налетела губительная страсть к Терезе. В первое время юноша боролся с собою, но дело валилось у него из рук, дни и ночи его грызла мысль о несбыточности надежд на личное счастье, и в конце концов Сипьон окончательно сломался. Он забросил работу, стал пьянствовать, звереть, и уже несколько раз случалось так, что в ответ на ласковые упреки матери Сипьон кидался на нее с кулаками. Но старуха все еще надеялась и крепилась; как только боль в ногах хоть немного уменьшалась, она принималась за уборку, и за этим-то занятием и застала ее Люси

Этим-то запянем и застала ее Люси.

Увидев входившую девушку, старуха расплылась в счастливой улыбке, но Люси грозно подступила к ней и сердито сказала:

— Вы это что же, сударыня? Опять за старое? Ах вы, бунтовщица вы этакая! Марш сейчас же в кровать!

— Да полно, барышня ты моя золотая, — ответила Ладмираль, — мне сегодня совсем хорошо, и я...

— Не разговаривать! — прикрикнула Люси, топая ногой. — Марш в кровать, говорю я вам! Ну-с! — девушка схватила старуху за талию и, несмотря на то, что та смеясь протестовала, подвела к кровати. Уложив старуху, Люси достала принесенную с собою мазь, старательно растерла больные ноги, тщательно укутала их и продолжала: — Ну-с, теперь займемся немного уборкой!

Девушка схватила щетку и тряпку и принялась быстро и ловко приводить комнату в порядок.

— Благослови тебя Бог, хорошая моя! — сказала старуха, растроганным взором следя за движениями грациозной девушки. — Сама-то ты еще не совсем здорова, а туда же, других лечить! Твое ли это дело возиться в нищенской грязи?

— Уж скорее мое, чем ваше! — смеясь ответила Люси. — Ну, а теперь, когда с уборкой покончено, мы можем позавтракать... Наверное, вы опять голодали, приберегая лучший кусок для сына, который даже и не

торопится провести мать.

— Нет, дорогая, нет, слава Богу, в добрых ангелах недостатка нет, и меня, старую, не забывают. Утром у меня опять была госпожа Дантон. Вот тоже святая женщина! Говорят, она из аристократок; ее отец будто бы даже воевал против республики и отправил на тот свет немало честных патриотов. Господь их там знает, так это или нет, а только хорошая она женщина, ласковая такая, простая... Да вот грустила, бедняжка! Говорит, что плохо им придется: твой-то дядюшка погубить ее мужа хочет... Эх, ничего-то я не пойму, барышня ты моя хорошая! Стара я стала, что ли... Словно волки все друг на друга набрасываются! И ведь все — хорошие люди, а друг с другом ужиться не могут! Вот Клоца казнили... Знала я его прежде: смешной такой немец! «Хочу, — говорит, — чтобы все люди были братьями и чтобы никаких границ и государств не существовало!» Ну, а твой-то, Робеспьер, разве он хочет, чтобы люди друг другу врагами были или чтобы немец на француза, француз на итальянца с ножом лезли? Ведь нет? А вот Клоца-то казнили... Может быть, так оно и нужно, а только не пойму я, старая, ничего в этих делах!

— Я понимаю во всем этом не больше вас, бабушка Ладмираль, — глухо ответила Люси, поникая головой. — Для меня самой это — такая мучительная загадка, которую я никак не могу разгадать!

— Да ты подумай только, — подхватила опять



старуха. – Ну, вот Дантон... Его жена плакала сегодня, когда рассказывала. Говорят, что уже решено арестовать Дантона с друзьями и что даже срок назначен: на днях это будет... Дантон и в ус себе не дует! «Пусть! – говорит. – Лучше самому быть казненным, чем казнить других!» Жена уговаривала его бежать, пока есть время, а он ей и говорит: «Разве можно унести отечество на подошвах своих башмаков?» Ведь вот он какой человек! Высокой души, высокой... А его казнить!.. Может быть, еще смилуется твой-то?

– Да разве этот человек знает, что такое – милость? – с отчаянием воскликнула Люси. – Не мучьте меня, не говорите об этом! Я и так истерзалась вся... Меня душит эта кровь, которую так щедро проливает дядя Макс.

– Ну, ну, не будем говорить об этом, не будем! А ты мне вот что скажи, красавица: скоро ли твоя свадьба?

– Ах, уж поскорее бы!.. Но Ремюза уехал с декретом конвента на юг и пробудет там целый месяц. Ведь когда он вернется, словом месяца через два... Однако что же это я? Ведь надо покормить вас!

Люси достала из корзины бутылку вина и пакеты с хлебом и мясом и встала, чтобы достать из углового шкафчика тарелку и нож.

В этот момент у двери послышались тяжелые, неуверенные шаги, и в комнату ввалился пошатываясь Сипьон Лалмираль. Увидав на столе бутылку вина, он

Сипьон сидел на стуле, на столе бутылка вина, он расхохотался пьяным смешком и сказал заплетающимся языком:

— Вино? Од-д-добряю! Мамаша за ум взялась! Выпьем, мамаша?

Люси обернулась к нему из своего угла и твердо сказала:

— Это — вино для вашей больной матери, Ладмираль, а не для пьянства! Запрещаю вам даже касаться этой бутылки!

Заметив девушку, Сипьон побагровел, и пьяная ярость с такой силой охватила его, что даже жилы вздулись у него на висках.

— Тебе что здесь нужно, робеспьеровское отродье? — гаркнул он, угрожающе подступая к девушке. — «Запрещаю»! Ишь, дрянь какая! Вот как возьму да...

— Сипьон! — с мольбой простонала старуха.

— Молчи ты там, старая рухлядь! Еще разговаривает! Сама принимает подачки от людей, стубивших ее сына, а туда же... — и он, подойдя к кровати, грубо ткнул ногой скорчившуюся мать.

Вся кровь бросилась в голову Люси.

— Пошел вон отсюда, негодяй! — крикнула она, подступая к пьяному зверю и бесстрашно осыпая его молниями негодующего взора. — Пошел вон или, клянусь Богом, я выбегу на улицу и крикну народу, что пьяный мерзавец бьет свою больную мать!

Сипьон — П...

Слышал ли ладмираль эту угрозу, понял ли он ее тяжесть? Едва ли! Но Люси была так гневно-прекрасна в тот момент, что пьяница смутился, отступил на несколько шагов, помялся у дверей и наконец, кинув: «А ну вас всех к черту!», – махнул рукой и скрылся.

– Барышня, золотая, дорогая моя! – взмолилась старуха. – Простите его! Разве он понимает, что говорит? Бедный мальчик измучился, он сам не свой... Ах, жизнь, жизнь... – старуха тихо заплакала. – Только не говорите об этом дяде! Может быть, мальчик еще образумится!

– Полно вам, милая! – ответила Люси, нагибаясь к плачущей и ласково поглаживая ее по щеке. – При чем здесь дядя, и разве стану я сводить счеты с пьяным, который сам не сознает своих поступков? Ну, полно плакать, успокойтесь!

– Я успокоюсь, дорогая моя, успокоюсь, но... вы... – старуха схватила руку Люси и лихорадочно проговорила: – Спасибо вам за все, но... лучше уйдите! Теперь мальчику самому совестно, он прячется где-нибудь во дворе и ждет, пока вы уйдете, а как только вы уйдете, он придет ко мне... он всегда так ласков, так нежен после грубости... Он ведь и сам не рад...

– Бог с вами, конечно, я уйду, если так! Всего хорошего, дорогая, поправляйтесь! – и Люси, нежно поцеловав старуху, вышла из комнаты.

Задумчиво опустив голову, проходила она

двориком. Вдруг она почувствовала, что кто-то робко удерживает ее за платье. Она подняла глаза: перед нею был Ладмираль.

— Если можешь, прости меня! — глухо пробормотал он, тяжело поникая головой. — Ты — хорошая, ты — не то, что этот... Я преклоняюсь перед тобою, готов целовать следы твоих ног... Но разве я — господин себе? Ах, все пропало, все пропало! Я погиб, ничто не спасет меня! — и, схватившись руками за лицо, Ладмираль затрясся от рыданий.

Люси поспешно юркнула в ворота. Что могла она сказать ему? Разве существуют такие слова утешения, которыми можно было бы ободрить этого несчастного? А он все стоял, роняя горячие слезы.

Вдруг кто-то с силой хлопнул его по плечу: перед Ладмиралем был Фушэ, иронически воскликнувший:

— Что я вижу, друг Сипьон? Кающаяся Магдалина в камзоле! Кстати, уж не начал ли ты приударять за прелестной Люси Ренар с отчаяния, что не менее прелестная Тереза Дюплэ...

— Я убью тебя, дьявол! — крикнул Ладмираль замахиваясь.

— Ну, а кто же будет давать тебе на выпивку, если меня не станет? — спокойно спросил Фушэ, не двигаясь с места.

Рука Сипьона застыла в воздухе.

— Ведь сознайся, хочется выпить? — невозмутимо

продолжал искуситель.

Лицо Ладмираля исказилось страстной мукой, руки затряслись и с мольбой прижались к груди.

– Выпить?.. О, да, да... выпить! – страстно пробормотал он. – Выпить... забыть... не мучиться...

– Ну, вот то-то! – философски заметил Фушэ и, взяв Сипьона под руку и увлекая его за собою, продолжал: – А у меня, кстати, имеется кое-что новенькое для тебя! Пойдем, и авось ты познаешь забвение!

## IV

### Двое расстриг

– Привет счастливой невесте!

– Кому это ты, Фушэ? – лениво спросил Шарль Морис Талейран-Перигор, осторожно наливая в бокалы старый шамбертен, сверкавший гранатовыми искорками.

– Очаровательной Люси Ренар! – ответил Фушэ. – Ведь она – счастливая невеста Ремюза, который решил искупить грехи прошлого своих братьев-аристократов. И он прав, ей-Богу, прав! Чего там смотреть на грешки да пятнышки? Бери сокровище, раз оно дается в руки! Прелестная девчонка!.. А как припустилась-то, как припустилась! – воскликнул он, посылая вдогонку девушке язвительный смешок. – Не знаю почему, но я внушаю ей непреодолимый страх, хэ-хэ-хэ! Однако

рассказывай дальше, друг Талейран. Я чрезвычайно жалею, что легкое нездоровье приковало меня в тот день к дому, и не пришлось посмотреть, как эти мечтательные барашки шли на бойню. Так ты говоришь, что они ничуть не трусили?

— О, наоборот! — ответил Талейран, протягивая Фушэ бокал. — Твое здоровье!.. Геберисты держались молодцами... Дожидаясь своей очереди, Гебер что-то приуныл. «Ты грустен, Гебер?» — с удивлением воскликнул Ронсен. «Да, — ответил тот, — меня убивает мысль, что республика должна погибнуть!» — «Успокойся! — возразил Ронсен. — Она — бессмертна!»

— Очаровательно! — воскликнул Фушэ, покатываясь со смеху. — Барашки даже и под ножом не перестали блеять строфы из политической пасторали! Воображаю, какое впечатление произвела их геройская смерть!

— О да, особенно, когда Клоц крикнул с эшафота на всю площадь: «Франция, излечись от индивидов!» Едва ли кто-нибудь понял, что он хотел сказать этой глупостью, но все почувствовали, что умирает достойный человек и что по воле Робеспьера сотворено преступление над республиканской свободой!

— Нет, друг Талейран, это — вовсе не глупость! Клоц всегда проповедовал, что в истинной республике должен править коллектив, а не индивид, вся масса, а не отдельная личность. Там, где индивид навязывает свою волю коллективу, получается тирания. Робеспьер — вот

живой пример этому! Если Франция хочет остаться республикой, она должна излечиться от индивидов. Клоц прав!

— Но разве это возможно?

— Ну, конечно, нет! Это — одна из частых утопий! Обществом всегда правила, правит и будет править личность, увлекающая за собою коллектив! Но именно потому-то Франция и не останется республикой, а если и останется, то должна будет сменить свою сумбурную форму на другую, более правовую. Да разве можно жить так, как живем мы, черт возьми?

— Ну, ну! Друг Фушэ не может пожаловаться! Несмотря на плохие времена, он таскает себе кирпичик по кирпичику для будущего домика!

— Дурак я, что ли? Но к чему будет мне этот домик, когда в один прескверный день Робеспьер может послать меня на эшафот?

— А он, кажется, очень не прочь сделать это! Из клуба-то тебя... того?

Талейран преуморительно прищурил глаз, причмокнул и выставил вперед указательный палец, как бы рисуя тот путь, по которому вылетел Фушэ, недавний председатель клуба якобинцев, ныне удаленный оттуда по требованию Робеспьера.

Но Фушэ в ответ только весело расхохотался и ответил:

— Ах не говори! Этот Робеспьер — такой болван

— Да, не говори: Этот Робеспьер — такой болван, такой болван! Разве ты не знаешь, кто выбран теперь председателем клуба?

— Нет.

— Лежандр!

— Который? Математик?

— Да нет, мясник, Луи!

— Да ведь он — дантонист?

— Вот в этом-то и штука! А председателем конвента избран Талльен, тоже дантонист и непримиримый противник Робеспьера! Теперь у Максимилиана руки связаны, и ему придется согласиться на устранение Дантона с друзьями. До сих пор он все еще колебался, но теперь я наверное знаю, что завтра комитеты декретируют предание суду всей этой компании!

— Разве ты так не любишь Дантона?

— Ровно ничего не имею против него!

— Но... тогда... Право, не понимаю! Почему все эти казни доставляют тебе такое удовольствие?

— Ай-ай, Талейран, а я еще всегда находил у тебя государственный ум! Но я понимаю тебя! Ты просто хочешь как можно подробнее выведать мои планы и прикидываешься несмышленьким!

— Друг мой, ведь я не обучался у иезуитов!

— Ну, ну! Епископ отенский<sup>[11]</sup> — тоже не мальчик в этих делах! Но я охотно пойду сам в твою западню, потому что для нас с тобою, как для верных союзников,



необходимы полное понимание и согласованность. Я радуюсь всем этим казням по двум причинам. Во-первых, каждая отсеченная голова приближает к могиле самого Робеспьера. Чье порождение — Робеспьер? Революции. До каких пор он может держаться? Пока не иссякнет живая сила революции! В чем эта живая сила? В лучших умах, естественно разбивающихся на партии. Жирондисты, геберисты, дантонисты — все это корни республики. На одном корне — робеспьеристах — дерево не может держаться, и оно рухнет, увлекая в своем падении и самого Робеспьера. Значит, желая скорейшего падения Максимилиана, надо желать, чтобы этот процесс отсечения живых корней ускорился. Робеспьер уже начинает понимать это, но он зарвался, ему не удастся остановиться, события увлекают его вперед и несут к гибели. Как же мне не радоваться? Я ничего не имею лично против Клоца, Гебера, Дюмулена, Дантона, Робеспьера, но тот порядок вещей, который они создают, служит вечной угрозой моему собственному существованию. Вот одна сторона вопроса, друг Талейран. А теперь перейдем к другой! — Он допил свой бокал и продолжал, поудобнее откидываясь в кресле: — Мы с тобою рождены для того, чтобы править судьбами мира. Можем мы рассчитывать на выдающееся положение при теперешней неразберихе? О нет, потому что стоит нам только чуть-чуть высунуть голову — и Робеспьер, который бреет всю Францию под один —

очень маленький — размер, сейчас же сбреет головы и нам. Поэтому нам надо сидеть и ждать, пока Робеспьер, обрив всю Францию, не обреется и сам. Но ведь Робеспьер, сам не зная того, работает для другого, неведомого, того, который еще должен прийти.

— Вот что значит духовное образование! Какой стиль, какой полет мысли!

— И когда этот неведомый придет, ему понадобятся люди, способные поддержать его власть. Вот тогда мы высунем головы и скажем: «А мы — тут!» Хэ-хэ-хэ! И выйдет, что Робеспьер работал для нас с тобою, да! Ну, так нам ли не радоваться его работе? Мы должны всячески помогать ему теперь, хэ-хэ-хэ!

— Помогать, но чем же? Я понимаю, если ты скажешь, что ты сделаешь то или се. Но я? Чем могу помочь твоей работе я — человек без веса и влияния?

— Вот что, друг мой, — насмешливо сказал Фушэ, — смирение — украшение девиц и монахов. Девицей ты никогда не был, насколько мне известно, а монахом перестал быть добровольно. Ну так сбрось же личину, которой меня не обманешь! Я предложил тебе союз, развил тебе свои планы и спрашиваю: хочешь идти со мной заодно? Да или нет?

— Ну, так да, если хочешь! — лениво ответил Талейран, наливая еще вина себе и гостю.

— Да так да! — отозвался Фушэ, допивая вино. — А теперь я пойду. Мне еще надо заточить новое оружие для

теперь я пойду. Мне еще надо заточить новую стрелу для нашего диктатора. Собственно даже и не стрелу, а маленькую колючку, но... иной раз такая маленькая колючка попадет лошади под седло, и она так взбесится, так понесет, как и от удара ножом ждать нельзя! Да, да, друг мой, маленькие причины обыкновенно важнее больших, потому что им не придают значения! Однако до свиданья! — и, простившись с Талейраном, Фушэ направился к дому Ладмиралья.

Войдя в ворота, он застал как раз тот момент, когда Сипьон униженно просил прощения у оскорбленной им Люси. Затем Люси убежала, и между Ладмиралем и Фушэ произошел разговор, приведенный в прошлой главе.

— Ты познаешь забвение! — сказал Ладмиралю Фушэ.

Забвенье! Чего бы не отдал Сипьон, чтобы унять ту жгущую боль, которая ни днем, ни ночью, ни в трезвом состоянии, ни в хмелю не оставляла его!

— Забвение! — глухо повторил несчастный. — Оно не всякому дается.

— Дуракам вообще ничего не дается, — презрительно отрезал Фушэ. — Но на то и существуют умные люди, чтобы выводить из беды дураков. Я познакомлю тебя с женщиной, которая...

— С женщиной! — с горьким смехом перебил его Ладмираль. — Мало ли их прошло через мои руки в последние месяцы!

— Может быть, и много, да зато каких? Нет, милый мой, долго мне еще учить тебя! Ведь, пугаясь со всяким сбродом, ты хотел загрязнить свою любовь к Терезе, а вместо этого только острее чувствовал, что теряешь ее... То есть, может быть, ты и ничего не теряешь, но в этом, по крайней мере, ты себя уверил. Многие считают, что забвение тот же сон! Нелепость! Иной сон способен истомить и измучить больше, чем действительность! Нет, забвение — только в мечте, которою мы сами создаем себе! Женщина, про которую я говорю, может дать тебе иллюзию любви...

— Но в таком случае чего мне искать еще? Разве у меня нет Сесили, которая была бы счастлива дать мне забвение, которая любит меня?

— И которая именно потому-то и не может помочь твоему горю! Любовь требовательна; Сесиль будет вечно мучиться мыслью, что ты ищешь ее ласки лишь с горя... Ее любовь вечно будет преградой между тобою и полным забвением! Нет, друг мой, я вижу, что без меня ты бессилен справиться со своим горем. Поэтому довольно вопросов и сомнений! Чем ты рискуешь, доверившись мне? Не помогу я тебе — так ведь хуже-то тебе от этого не станет! А вдруг в самом деле помогу?

— Ты прав... Что же, попробуем...

— Ну вот, то-то же!

Фушэ привел Ладмираля к себе, напоил и накормил его, велел прилечь, сказав, что вовремя разбудит, а сам

написал записку Адели Гюс и сейчас же отправил ее с кучером. Было часов семь вечера, когда Фушэ разбудил тревожно спавшего юношу и приказал ему помыться и привести себя в более приличный вид. С помощью гардероба самого Фушэ последнее до известной степени удалось, и тогда они выехали из дома.

## V

### Забвение

После смерти Крюшо-Бостанкура Адель всецело отдалась в руки Фушэ, став покорным орудием его воли. По его приказанию она переменила квартиру и временно разошлась с Гаспаром Лебефом.

Лебеф мог стать опасным свидетелем в той рискованной игре, которую вела теперь Адель. Но все же она ни в коем случае не хотела отпускать его на свободу, и Лебеф продолжал быть по-прежнему рабом клятвы, так неосторожно данной в угаре молодой, давно уже прошедшей страсти. Впрочем, он был рад и тому, что ему можно было теперь отдохнуть наедине с самим собою. Он получил скромное место клерка в нотариальной конторе и молчаливо работал, добывая необходимое пропитание. От всякой общественной деятельности он совершенно отказался — особенно от защиты обвиняемых в революционном трибунале. Да и

какой смысл мог быть в этой защите, когда все судебные гарантии были стеснены до последней степени и на очереди уже стоял вопрос о полной отмене их?

Но тем страстнее кинулась в общественную деятельность Адель Гюс, в которой Фушэ нашел на редкость способного и энергичного сотрудника. Из предыдущей деятельности Адели читатели уже знают, что у нее был большой талант к интриге, а когда в дело вмешивались страсть и ненависть, этот талант обострялся до чрезвычайности. Гюс только и жила теперь мыслью об отмщении Робеспьеру за смерть Крюшо. Фушэ уверил ее, что это отмщение явится само собой результатом ее помощи его планам, и этого было достаточно, чтобы Адель со страстью кинулась в работу.

Ее деятельность отличалась лихорадочностью. Переодеваясь и гримируясь, она появлялась под самыми различными видами в самых различных слоях общества. И везде ее целью было прославлять Робеспьера так, чтобы парижанам становилось все яснее, какой угрозой дышит усиление его власти. Способная ученица Фушэ отлично усвоила и проводила на деле ту справедливую истину, что чрезмерная услужливость друзей часто вредит больше, чем открытая злоба врагов. Ведь страдания вызывают сочувствие, а успех — злобную зависть.

Получив теперь записку Фушэ, Адель оживилась и обрадовалась. Она была посвящена и в эту часть общего

плана великого интригана: держать наготове озверелого цепного пса, доведенного до неистовства. И она сейчас же принялась за приготовления.

Прежде всего, Адель уселась перед зеркалом и принялась добросовестно изучать свое лицо и фигуру. Нет, право, несмотря на свой возраст, она была еще очень хороша! Волосы, зубы, кожа – совсем, как у молоденькой барышни. Глаза тоже не потеряли своего влажного блеска, а формы... формы... Нет, с этой стороны бояться нечего!

Конечно, годы делают свое дело: мускулы лица и шеи несколько одрябли, уголки рта опустились, линия подбородка потеряла свою чистоту. От внимательного, опытного взгляда не скроешь того неумолимого «нечто», которым природа клеймит увядание женщины, как бы хорошо она ни сохранилась. Но это на свету... да и потом... какой-то Ладмираль... Нет, нет, эта часть программы не может не удалиться!

Затем Адель взялась за дело. Она вооружилась заячьей лапкой, белилами, румянами и карандашом, чуть-чуть только кое-где тронула краской, выделяя упругую округлость лицевых линий и затушевывая провалы и обвислости, увеличила глаза, провела кармином по мочкам ушей и опустила золотистые пряди волос так, чтобы из их волн дразнящими язычками выглядывали уголки розовых ушных раковин. Да, так будет хорошо!

Затем наступила очередь костюма. Адель достала длинную зеленоватую шаль из прозрачной материи, затканной золотыми звездочками. Материя сильно выгорела и была кое-где заштопана, золото звезд потускнело, но все это — на свету, а в специальной обстановке, при особых условиях...

Этой шалью Адель умело задрапировалась, подкалывая материю широкими, живописными складками. Как эффектно просвечивала розоватость кожи сквозь прозрачную зелень ткани! И как подчеркивала эта зелень свежесть кожи голых рук и ног!

Долго провозилась Адель перед зеркалом, поправляя замеченные дефекты, а затем взялась за приведение в порядок комнаты.

Из шкафа на свет Божий появились старые, потускневшие ткани; ими Адель занавесила окна, закрыла диван и ветхие кресла. Когда по ее приказанию плотно закрыли ставни и зажгли розовато-молочный фонарь, выцветшая обстановка комнаты и наряда засверкала какой-то своеобразной, сказочной прелестью.

Адель внимательно оглядела комнату, поправила кое-где, принесла и поставила на стол поднос с несколькими длинными, узенькими трубочками, приказала затопить камин и стала ждать. Скоро стук в дверь передней и шум шагов известили ее, что ожидаемые гости прибыли.

На пороге была она, королева света и Полюшка



на улице было еще довольно светло, и ладмираль был неприятно поражен, когда Фушэ ввел его в полутемную комнату, где со свету глаз ничего не разбирал.

— Почему так темно? — недоверчиво спросил он, останавливаясь.

— Забвение — мечта, а мечта — враг яркости! — ответил ему Фушэ, подталкивая к креслу. — Садись, садись, не бойся ничего!

Ладмираль сел, оглядываясь по сторонам. Его нервы были напряжены до последней степени, вызывая жуткую яркость ощущений. Скоро глаз осмотрелся в темноте, стал отчетливо разбирать обстановку. Ладмираль провел рукой по материи, драпировавшей кресло, и его рука с неприятным ощущением скользнула по дыре, трухляво расширившейся при прикосновении, а каминный огонь, на мгновение вспыхнувший ярче, осветил с предательской резкостью вытертые пятна ковра, покрывавшего пол. Лицо юноши исказилось брезливой гримасой. Так вот он, тот волшебный, райский уголок, о котором пел ему по дороге сюда Фушэ! Ну, если и забвение того же сорта...

— Итак, начнем! — сказал Фушэ вставая. — Прежде всего, вот это! — он взял с подноса одну из трубочек. — Невелика штучка, но сколько чар таит она в себе! Здесь, во Франции, с этой прелестью почти незнакомы, но в Англии аристократы и особенно аристократки очень

одобряют ее! Это – чанду, восточное средство против всяких огорчений. Соки индийского мака и конопли, перебродив особенным образом, дают его... Да вот, попробуй!

Фушэ подошел к камину, достал щипцами маленький уголек, положил его в трубку и протянул юноше.

Сипьон потянул из трубки. Сладкий, удушливый дым наполнил ему рот, легкие, пронизал мозг, вьелся в кончики пальцев рук. В первый момент Ладмирало показалось, что он задохнется, что сердце не выдержит того бешеного трепета, которым наполнило его это странное вещество. Но в то же время такой сладостный туман заволок его мозг, что Сипьон с силой вдохнул еще раз. Все вокруг завертелось в быстром кружении. Юноша откинулся на спинку кресла и, разжав пальцы и выпуская из рук подхваченную Фушэ трубку, широко раскрытыми глазами стал смотреть на творившиеся вокруг него чудеса.

Бешеное кружение улеглось, сменившись плавным покачиванием, и Сипьону казалось, что его уносит куда-то вдаль быстрым, ласкающим течением. Комната расширилась, розовато-молочный фонарь взвился высоко вверх; золото тканей ожило, и повсюду загорелись зеленоватые огоньки. Из всех углов комнаты полилась успокаивающая, тихая мелодия.

Но эта яркость фантастического сна продолжалась

недолго. Снова сдвинулись стены, потухли огоньки, смолкла мелодия, и опять сверлящей болью шевельнулся в сознании образ Терезы, впервые в течение долгого времени покинувший Ладмираля за эти краткие мгновенья очарования. И так жаль стало ему ускользающих чар, что, вытянув вперед скрюченные пальцы, стараясь дрожащими руками достать волшебную трубку, Сипьон детски-жалобно и нетерпеливо простонал:

— Еще... еще!..

Словно издали, из густого тумана послышался ответ Фушэ:

— Нет, брат, довольно для первого опыта! Сразу много нельзя!

Бешеная злоба охватила Ладмираля, но сейчас же погасла, словно искра на воде. Действие чанду вступало в свою третью, самую длительную фазу. Все кругом приобрело ласкающую прелесть, на душе стало удивительно легко, в голове покойно. И все прошлое, все настоящее потеряло свою болезненную остроту и горечь. Ну да, жаль, что Тереза не хочет полюбить его, но приходить из-за этого в отчаяние? Приходить в отчаяние, когда в жизни так много хорошего?

Безумие прошлой скорби показалось Ладмиралю таким нелепым, что он тихо рассмеялся. Тогда Фушэ троекратно хлопнул в ладоши, дверь в соседнюю комнату открылась, и на пороге показался Адап.

комната у открылась, и на пороге показалась Адель.

В ее руках был поднос с кувшином вина и бокалами. Плавной походкой, словно скользя по воздуху, она подошла к столу, поставила поднос и поклонилась Ладмиралю. Сипьон встал, кланяясь в ответ, но у него вдруг закружилась голова, и он покачнулся; однако Адель подхватила его и, крепко прижимаясь к нему роскошным телом, подвела к дивану. Не отрывая восторженно горящего взора от пышных форм Адели, Ладмираль опустился на диван, увлекая ее вместе с собой.

Адель уселась рядом с ним и, не переставая прижиматься к нему, налила вина, причем завела тихий, нежный разговор. Так прошло около часа. Опынение чанду рассеивалось, но его сменяло более бурное опынение вином и близостью жгучего тела, к которому все обострялось хищное желание.

Наконец, повинувшись выразительному взгляду Фушэ, Адель заговорила о губельной отрасли Сипьона, о жестоконости Терезы, о Робеспьере, из пустого каприза связывавшем сердце девушки. И опять Ладмираль почувствовал болезненный, до бешенства мучительный укол в сердце.

— И подумать только, — говорила Адель, — что молодой, красивый, сильный юноша может томиться от несчастной любви, когда существует такой верный, такой прекрасный любовный напиток!

— Где же ведьма, которая варит его? — хрипло спросил Ладмираль.

— Здесь и здесь! — ответила Адель, указывая пальцем на голову и грудь юноши. — О, я тоже когда-то мучилась от страсти, но я-то скоро сумела помочь себе! Хочешь, я расскажу тебе, как это было, мой молодчик? Однажды я полюбила прекрасного юношу, который вздыхал по другой. Этот юноша был не каким-нибудь отродьем столяра, а настоящим княжеским сыном, и все же я сказала: «Он будет мой!» И я добилась своего! Однажды я угостила разлучницу двумя вершками железа в самое сердце. Ее похоронили, мой князек потосковал недели две, а потом пришел ко мне. «Ты убила то, что было мне дороже всего на свете, — сказал он, — но раз ты не побоялась из любви ко мне погубить свою душу смертным грехом, значит, ты и в самом деле любишь меня, и я хочу твоей любви!» Вот как было дело, мой молодчик! Да, нож, направленный в сердце разлучника, — лучший любовный напиток.

— А-а-а! — хриплым воем вырвалось из груди Ладмиралья; сунув руку за пазуху, он выхватил оттуда нож и, размахивая им по воздуху, вскочил, после чего хотел броситься к дверям.

Но Фуш с силой, которую трудно было подозревать в нем, схватил его за шиворот и кинул на диван. Затем, навалившись всем телом на Сипьона, он крикнул:

– Трубку, Адель, скорей трубку!.. Ну, потяни, потяни! – повелительно сказал он, когда Адель подала ему новую зажженную трубку. – Ишь ты, какой горячий! Только всякому овощу свое время!

Сипьон жадно втянул сладковатый дым, снова потянулся губами к трубке, сделал три-четыре затяжки, и Фушэ почувствовал, что тело юноши сразу утратило свою напряженность.

Фушэ отпустил его. Юноша остался неподвижно лежать на диване; его глаза закрылись, губы что-то шептали, пальцы разжались, выпуская нож.

– Мальчик совсем готов! – тихо сказал Фушэ Адели. – Проба удалась блестяще, и стоит спустить нашего молодца с цепи, как шутка будет сыграна. Но слава Богу, что мне удалось удержать его! Он мог бы и в самом деле прикончить Робеспьера, а теперь вовсе не время; пусть сначала Робеспьер разгуляется вовсю. Да кроме того, мне не хотелось бы делать из Робеспьера мученика, пострадавшего за идею! Он должен умереть на эшафоте, как преступник, и вместе с ним должна умереть его идея власти. Пусть Сипьон поможет нам добиться этого, а... – Ладмираль беспокойно зашевелился, и Фушэ, сам себя перебивая, торопливо закончил: – Он приходит в себя, я уйду! Смотри, заморози его совсем да попридержи!

Фушэ ушел, Адель заперла за ним дверь и подошла к Ладмиралю. Отколов булавки и скинув паль, она

вплотную прижалась к нему и стала дарить бешеными ласками, нашептывая:

– Что такое – имя? Мечта, пустой звук. Я – твоя Тереза, я люблю тебя, я пришла к тебе, возьми меня! Ну, обними же меня, любимый мой! Кончился тяжелый сон, пали все преграды к счастью! Обними меня, приласкай... приласкай свою Терезу!

Со стоном страсти схватил Ладмираль в объятия прижимавшуюся к нему женщину, и много-много раз в агонии блаженства имя «Тереза» раздавалось в полутемной комнате, повисая в складках поблекших, выцветших материй и танцуя дикую пляску в хороводе каминных огней.

## VI

### Казнь Дантона

Как и предсказывал осведомленный Фушэ, в ночь с 29 на 30 марта 1794 года комитеты общественного спасения и общественной безопасности постановили арестовать Дантона и его друзей. Многие из дантонистов были арестованы еще раньше под разными предлогами. Так, в Люксембурге уже содержались Фабр д'Эплантен, Томас Пайн и Геро де Сешель, а в Консьержери – Шабо, Баяр и Вестерман.

31 марта постановление было приведено в

исполнение, и Дантон, Дюмулен, Делакруа и Филиппо были арестованы. В конvente произошел переполох; Лежандр, которого не посмел коснуться Робеспьер, потребовал, чтобы арестованные были допрошены и чтобы Робеспьер категорически сформулировал обвинение, направленное против них, но диктатор резко ответил:

– Почему Лежандр заговорил о Дантоне? Вероятно, потому, что, по его мнению, с этим именем связаны какие-то преимущества? Но мы не признаем никаких привилегий и не нуждаемся в кумирах. Конвент сумеет уничтожить давно подгнившего идола!

Затем Сен-Жюст прочел доклад, составленный по наброскам самого Робеспьера, и категорически потребовал, чтобы конвент утвердил арест дантонистов. Конвент не осмелился пойти против диктатора, предание суду целой группы честных патриотов было санкционировано!

Но предание суду означало еще немного: возникли большие опасения за исход процесса! Ведь перед судьями должны были предстать такие люди, как Дантон, разрушивший королевскую власть и начавший войну народов против королей, и как Дюмулен, поведший в 1789 году парижан на Бастилию, а в 1791 году первым потребовавший учреждения республики. И этих-то людей предстояло обвинить в заговоре против республики?



Надо было принять меры, и Робеспьер с Сен-Жюстом деятельно взялись за работу. Дантонистов обвинили в измене и мошенничествах, а для правдоподобия последнего обвинения к их процессу пристегнули настоящих мошенников: немца Фрея, испанца Гусмана и датчанина Фридриксена. Кроме того, друзья придумали и обличили обширный тюремный заговор, открытый ими и, якобы, затеянный дантонистами.

Все это было очень грязно и достойно какого-нибудь Фушэ, но уж никак не Робеспьера. Однако в его оправдание надо сказать, что, как мы уже не раз упоминали, Робеспьер был твердо уверен, что его диктатура спасительна для Франции и что эта диктатура должна будет пасть, если не погибнет Дантон. Он *честно* заблуждался — в этом единственное оправдание его бесчестных судебных подтасовок в делах геберистов и дантонистов.

Итак, обвинительный акт был составлен. Но, прозондировав почву и справившись с настроением судей, Робеспьер опять заколебался: ведь Дантон отличался пламенным красноречием, он мог в последнюю минуту повлиять на исход дела! И вот, по докладу Сен-Жюста, конвент декретировал, что революционный трибунал имеет право лишать слова и права защиты всякого обвиняемого, который «дерзнет

оказывать сопротивление национальному правосудию или оскорблять его». В то же время присяжным напомнили об их праве заявлять во всякое время, что они достаточно знакомы с делом, что дальнейшая процедура излишня и что они могут безотлагательно вынести решение.

Теперь обвинительный приговор казался гарантированным, и 5 апреля начался этот позорный процесс. Председателю пришлось очень скоро воспользоваться правом лишения слова того, кто дерзнет «противиться судьям». В опасном месте речи Дантона председатель Герман приказал ему замолчать; тот не послушался и был лишен дальнейшей защиты.

И все же того, что успел сказать Дантон, было достаточно, чтобы поколебать и смутить судей. Так, например, на обычные вопросы председателя об имени, возрасте, местожительстве Дантон гордо ответил:

— Мое имя — Дантон; мне — тридцать пять лет; моим жилищем завтра будет ничто, но мое имя останется в пантеоне мировой истории!

Смущение судей проявилось так реально, что Робеспьеру пришлось принять свои меры. Его друзья во время процесса продолжали влиять на судей. Слова, сказанные Топино-Лебреном одному из судей, отлично выражают всю суть этого дела.

— Ведь это — не процесс, а необходимая мера! — сказал Топино. — Робеспьер и Дантон не могут

оставаться вместе, а потому необходимо, чтобы один из них погиб. Хочешь ли ты гибели Робеспьера? Нет? Ну, так этим самым ты хочешь приговорить Дантона!

Все эти меры привели наконец к желаемому результату, и дантониисты были приговорены к смертной казни. До самой последней минуты они держались героями.

Перед своей казнью Дантон хотел поцеловать Геро де Сешеля. Палач грубо оттолкнул их друг от друга.

— Дурак! — крикнул Дантон. — Ты не помещаешь нашим головам поцеловаться в корзине!

Перед тем как сунуть голову под нож гильотины, он сказал палачу:

— Покажи мою голову народу — она стоит этого!

— Вот достойная награда первому апостолу свободы! — воскликнул Дюмулен, указывая на нож гильотины, обгаренный кровью Дантона.

Робеспьер облегченно перевел дух, когда страшное дело было сделано. Теперь-то он мог отдохнуть, успокоиться! Он был вполне единовластен, у него не было больше соперников, и можно было на время смягчить этот кровавый кошмар, который начинал угнетать его самого. На следующий день после казни Дантона Кутон, по поручению Робеспьера, объявил в конвенте, что «мы готовили празднество в честь Верховного Существа. Это означало формулу перехода к мирной политике, насколько таковая была возможна в

то тревожное время. Но Робеспьер не считался с тем, что это было не на руку тому тайному врагу, который невидимыми нитями подтягивал его все ближе к самой вершине Тарпейской скалы – к тому самому месту, где за вершиной следует пропасть!

## **VII**

### **Тревоги Люси Ренар**

«Твой-то дядюшка загубить ее мужа хочет», – как часто вспоминались Люси Ренар эти простые слова старухи Ладмираль и как больно ей было, что ничего не могла она сказать в оправдание Робеспьера ни другим, ни самой себе.

Все время, пока длился процесс дантонистов, девушка пребывала в мучительной тревоге, словно решалась участь близкого ей, любимого существа. Но это и было почти так: процесс Дантона перед революционным трибуналом был в то же время процессом Робеспьера перед трибуналом души Люси!

Уже давно в сердце девушки стал поселяться ужас перед кровавым потоком, все шире заливавшим Францию, и начало нашего повествования застало ее как раз в один из тех моментов, когда этот ужас переходил в безудержное отчаяние. Но в то время неудовлетворенность личной жизни несколько

отодвигала полное восприятие ужаса действительности. Инвалидность, грусть по Ремюза, рыцарской грезой скользнувшему в ее жизни и исчезнувшему без надежды на возвращение; затем это возвращение, принесшее новые муки, процесс Ремюза, его неожиданное оправдание. А затем в душе возникла трагическая борьба, в которой жажда личного счастья сплеталась с сознанием отсутствия права на таковое. Все это заслоняло, затушевывало у Люси страшные картины террора, и она совершенно искренне говорила, что ей нужно сделать известное умственное усилие, чтобы отождествить в своем представлении незлобивого, застенчивого, ласкового дядю Макса с кровожадным диктатором Робеспьером.

Однако как ни отвлечены были ее мысли, а где-то в дальнем уголке души, в кладовой подсознания, шла скрытая, но деятельная работа. Словно товары в магазине, отдельные факты укладывались по категориям и разрядам на соответствующие полочки, и вдруг, когда Люси заглянула в этот дальний уголок души, ее внутреннему взору предстала законченная трагическая картина с недопускающим уклонений выводом. И этот вывод гласил: довольно! Больше она не смеет пассивно и безучастно относиться к происходящему, и если она не в силах активно помешать творящемуся ужасу, то должна, по крайней мере, отрясти прах от ног своих и расторгнуть отношения с человеком, которого не могла

ни любить, ни уважать!

Процесс Дантона должен был решить все. Люси все еще надеялась, что судебное решение оправдает или Робеспьера, или Дантона: первого – опередившись в решении на бесспорные факты, на несомненную виновность, или второго – отказавшись обвинить подсудимого за отсутствием реальной вины.

Но действительность несколькими суровыми ударами разбила ее надежды. Обвинение выдвинуло пункты, не только ничем не подтвержденные, но и попросту заведомо неправдоподобные. Обвиняемым не позволили защищаться, судей запугали. И когда голова Дантона скатилась под ножом гильотины, Люси почувствовала, что в ее сердце что-то оборвалось.

Да, теперь кончено, теперь она должна будет остро и неуклонно поставить вопрос о дальнейшем. Вот только бы поскорее приехал Ремюза!

Но согласится ли с нею Ремюза? Ведь он... Боже! Неужели придется потерять его? Неужели придется самой разбить единственное счастье всей своей жизни?

Но что же делать? «Кто не со мной, тот против меня». Что-нибудь одно. Имеет ли смысл утолять жажду из отравленного источника? Нет, даже Ремюза не остановит ее решимости! Ах, поскорее бы он только приехал!

Люси переживала ужасные минуты. Робеспьера она явно избегала, но тому было не до нее. Он и всегда

льно измучена, но тому было не до нее. Он и всегда много работал, а теперь положительно не знал отдыха.

Тем временем слабый луч света прорезал душевный хаос Люси. Робеспьер приостановил все процессы, назначенные к слушанию, вновь заговорил о справедливости, о необходимости назначения следственной комиссии для пересмотра дел «подозрительных». Пронеслись смутные слухи, что день празднества в честь Высшего Существа станет днем всеобщей амнистии и начала правления на строго конституционных началах, что из-за этого между Робеспьером, с одной стороны, и Кутоном и Сен-Жюстом – с другой, произошла крупная размолвка. Люси облегченно вздохнула. Может быть, и в самом деле казнь дантонистов завершилось все необходимое очищение республики от вредных элементов? Может быть, и в самом деле эпоха кровавого тумана кончилась и начинается светлая, радостная эра?

Но в самый расцвет этих надежд вдруг молнией низринулась весть: Люсиль Дюмулен, вдова казненного Камилла, арестована и будет предана суду трибунала!

Значит, все-таки? И это – справедливость? Это – жертва на престол Верховному Существу? О, каким отвратительным кощунством показалось Люси затеваемое празднество! Чем виновата бедная Люсиль? Тем, что ее муж осмеливался призывать Робеспьера к милосердию? О, какой ужас, какой позор!

Незадолго до того, как Люси узнала об аресте вдовы Дюмулен, она получила письмо от Ремюза. Всего только несколько слов: любимый извещал, что через два дня прибудет в Париж. Но сколько нежности было в этих немногих словах, какой любовью дышали они!

Люси снова перечитала письмо и застыла, судорожно хватаясь за голову. Еще острее почувствовала она, что теряет с Ремюза. Но разве так уж бесспорно, что Ремюза будет против нее?

А если даже... что же делать... доживет как-нибудь. Уедет в Англию или Германию, перебьется уроками... Уж лучше жизнь, полная самоотречения, лишенная любви и ласки, чем этот ужас кругом!

Люси так задумалась, что не заметила, как в комнату вошел Робеспьер. Только когда он нагнулся, чтобы поцеловать ее, Люси очнулась и с тихим возгласом ужаса, с жестом отвращения отшатнулась от него.

Удивление, гнев, скорбь быстро сменялись на лице Робеспьера, наконец уступив место ледяной неподвижности.

— Что это значит, Люси? — сухо спросил он, скидывая голову. — Ты отшатываешься от меня, словно я прокаженный.

— Я не заметила, как ты вошел, и невольно испугалась, тем более что я как раз думала о вдове Дюмулен, и поцелуй человека, отправляющего ее на эшафот, показался мне... неприятным! — Люси хотела



ограничиться этими словами, твердо решившись не вызывать Робеспьера на объяснения до приезда Ремюза, но против воли у нее с рыданием вырвалось: — Ах, дядя Макс, дядя Макс! Как мне больно, что я не могу ни любить, ни уважать тебя больше!

При первых словах Люси лицо Робеспьера окаменело еще больше, и он сделал жест нетерпения, собираясь повернуться и уйти. Но этот взрыв искреннего страдания мощно коснулся его сердца и на мгновение растопил ледяную броню, которой диктатор постоянно сковывал свои чувства.

— Люси, бедное дитя мое! — почти простонал он, хватаясь за голову. — Как не стыдно тебе так мучить меня? Сколько раз я умолял тебя: верь мне, верь, что я неспособен действовать в личных интересах, что мной во всем руководит необходимость! Ведь ты знаешь меня не со вчерашнего дня, знаешь, как пламенно я люблю Францию!

— «Люблю»! — повторила Люси, горько усмехаясь. — Странная любовь, которая наносит раны вместо того, чтобы лечить их! Необходимость! Удобное слово! Убийца и грабитель тоже ссылаются на необходимость! Ты говоришь, что неспособен действовать в личных интересах? Так скажи мне: разве Дантон был действительно виноват в том, в чем его обвинили?

— Нет, Люси, но ведь я уже говорил тебе не раз, что в смутные времена неизбежно отпалают обычные

гарантии и на первый план выдвигается благо большинства. Я отдал бы все, чем имею право лично располагать, лишь бы не было нужды посылать на плаху ни Эбера, ни Дантона с друзьями. Но у меня не было иного выхода. Вместе мы не могли оставаться, один должен был уступить место другому!

— И ты называешь это «действовать не в личных интересах»?

— Люси, ответь мне на один вопрос. Как назовешь ты поступок солдата, которого поставили на опасное место с важным поручением и который покончил с собой на этом важном посту?

— Но я не представляю себе возможность такого поступка!

— Я тоже. Но все-таки?

— Не понимаю, к чему это? Ведь тут не может быть двух мнений! Если такой солдат не сумасшедший, то его поступок — подлая трусость, измена, предательство!

— Да, Люси, трусость, измена, предательство! Чтобы не быть таким солдатом, я должен был казнить Дантона. Пощадить его, оставить ему жизнь было бы равносильно покушению на самоубийство, потому что дантонисты готовы были пойти на переворот, лишь бы устранить меня. А ведь Высшее Существо доверило мне важный, ответственный пост!

— Софизмы, все софизмы! — растерянно возразила

девушка, чувствуя, что у нее вырывают ее оружие. — гю, а Люсиль Дюмулен? — вспомнила она. — Она тоже была опасна для тебя и французского блага?

— Дитя! Известно ли тебе, в чем вина вдовы Дюмулен?

— Ну, конечно! В том, что ее мужа звали Камилл Дюмулен!

— Нет, Люси! В день казни дантонистов вдова Дюмулен пыталась поднять народ, чтобы помешать исполнению приговора и освободить дантонистов! Против нее говорит вполне реальное преступление, предусмотренное законодательствами всех стран и подкрепленное ее признанием! И все-таки... все-таки я был против ее ареста. Раз отсутствие реального преступления не всегда избавляет от суда, то и наличие такового не всегда должна вести к наказанию. Ведь я отлично понимаю состояние ее души, понимаю, что она была близка к безумию, видя гибель любимого человека. Поэтому, когда Кутон и Сен-Жюст стали требовать ее ареста, я просто сослался на ее безобидность: раз она не была в состоянии сделать что-либо в день казни, когда народ был все-таки взволнован, что может сделать она после? Но в конце концов, мне пришлось уступить. Пусть посидит в тюрьме, а там... там посмотрим!

— Так она не будет казнена? — воскликнула Люси с загоревшимися от счастья глазами. — Не будет, дядя Макс, не будет?

— Не могу ответить тебе с уверенностью, дитя мое, потому что я сам еще ничего не знаю. Мне очень хотелось бы, чтобы в дальнейшем не было необходимости в казнях и чтобы мы могли постепенно перейти к нормальному конституционному режиму. Я думаю, что вместе с дантонистами мы покончили с элементами распада и тления. Поэтому я пока приостановил действие карающего меча республики. Как знать, может быть...

Он не договорил: в раскрытое окно влетел небольшой камешек, пущенный из-за забора неизвестной рукой. Вокруг камня белела полоска бумаги.

Робеспьер с недоумением поднял камень и снял окутывавшую его бумажку. На ней было что-то написано. Разгладив записку, Максимилиан прочитал ее, и сейчас же его лицо вспыхнуло безудержным гневом.

— Вот как! — крикнул он, швыряя записку на стол. — Так вот они, плоды умеренности и милосердия! Стоило мне всего лишь на несколько дней отказаться от террора, как сейчас же все темные силы опять закопошились и полезли на свет Божий! Нет, Франция еще не созрела для милосердия! Довольно опытов! Пусть ахают чувствительные женщины — судьбами страны должна править твердая мужская воля! — и, не оборачиваясь, не глядя на испуганную Люси, Робеспьер вышел из комнаты.

Люси схватила бумажку и прочла:

«Гражданин, будь осторожен! На тебя готовится покушение! Сегодня вечером оно будет произведено. Прими меры».

Люси в отчаянии откинулась на спинку стула. Неужели и в самом деле не было иного выхода, не было иного пути, кроме того, которым следовал Робеспьер? Неужели и в самом деле милосердие — лишь удел чувствительных женщин? Неужели умеренность — недостижимая мечта в правлении?

## VIII

### Собака спущена с цепи

Талейран сидел у Фушэ, который немного прихворнул и, весьма дорожа своим драгоценным здоровьем, не хотел без нужды выходить из дома. Темой разговора служил, разумеется, Робеспьер. Большую пищу остроумию собеседников давало его намерение объявить себя верховным жрецом новой государственной религии служения Верховному Существо.

— В том, что Робеспьер прибавил к диктатуре еще и понтификат<sup>[12]</sup>, еще нет ничего особенного, — сказал между прочим Талейран, — но что он проявит склонность к милосердию, вот этого я уж никак не

ожидал!

— Ну, — лениво отмахнулся Фушэ, — милосердие! Робеспьер и милосердие!

— Но говорят, что...

— Сказки!

— Однако эти сказки имеют под собою далеко не сказочную почву! Кутон говорил мне лично, что ему и Сен-Жюсту пришлось выдержать тяжелую борьбу с Робеспьером из-за вдовы Дюмулен! Представь себе, Робеспьер доказывал, что она не опасна и что нечего вымещать на женах ошибки их мужей! Когда же Сен-Жюст возразил, что тут дело не в казненном Камилле, а в попытке самой Люсиль Дюмулен поднять восстание, наш диктатор сослался на то, что эта попытка успеха не имела! Каково! Кто бы мог поверить этому?

Уже при первых словах Талейрана Фушэ насторожился. Под конец с него мигом соскочила вся ленивая томность.

— Ну и что же? — спросил он, напряженно выгибаясь вперед.

— Ну, им все-таки удалось добиться, чтобы вдову Дюмулен заключили в тюрьму, хотя вопрос о предании ее революционному трибуналу отсрочен: Робеспьер выразил желание попробовать обойтись мерами кротости и...

— Одеваться! — неистово закричал Фушэ, вскакивая и изо всех сил потрясая звонком. — Скорей, одеваться! —

и, швырнув звонок, он кинулся к дверям.

— Куда ты? — удивленно спросил Талейран.

— И ты еще спрашиваешь? — напустился на него Фушэ. — Впрочем, чего же и ждать от человека, который способен просидеть два часа и только случайно рассказать самое важное. Талейран, я положительно разочаровываюсь в тебе! Как ты способен спокойно ждать, чтобы проклятый Робеспьер превратился в ягненка и этим лишил нас плодов всей нашей работы? Нет, вы только посмотрите на это олимпийское спокойствие! — и Фушэ, с негодованием махнув рукою, стремглав выбежал из комнаты.

Талейран проводил его язвительным взглядом.

— Друг мой, — тихо пробормотал он, и каждый звук его голоса был полон ужасной иронией, — почему мне не быть спокойным, раз беспокоишься ты? И к чему я буду таскать из огня горячие каштаны, раз тебе все равно придется поделиться со мною?

Он тихо засмеялся, но тут в комнату опять вбежал за какой-то нужной бумагой Фушэ, и лицо Талейрана сразу приняло прежнее простовато-ленивое выражение.

Между тем Фушэ отправился прямо к Адели.

— Представь себе, — сказал он ей, — с Робеспьером дело неладно!

— Да? — воскликнула она, и ее взор загорелся злобной радостью.

Ее взор, полный осторожности, не покинул и

— Болван вздумал остановиться на полпути и, кажется, совершенно не собирается идти туда, куда мы хотим загнать его!

— Да? — снова, но уже совершенно другим тоном спросила Адель.

— Мало того, он готов повернуть обратно!

— Что же делать?

— Надо будет спустить на него собаку... Животное-то готово у тебя?

— Ладмираль? О, да!.. Ну, а когда?

— Сегодня вечером!

— О, наконец-то! По правде сказать, вся эта история мне порядком надоела! А кроме того... я, знаешь ли, нетребовательна, вовсе нет... мало ли вашего брата пребывало у меня... Но этот Ладмираль... Фу, гадина!

— Ну, ну! Награда стоит того! Значит, ты думаешь, что натравить этого болвана будет нетрудно?

— Ручаюсь за это! Но скажи: ты все еще стоишь за свой прежний план? А не лучше ли было бы предоставить все судьбе? Пусть Робеспьер ничего не знает; может быть...

— И ты еще уверяешь, что хочешь мстить! Да разве это — месть? Смерть страшна лишь тогда, когда ее исподволь ждут, а что такое — неожиданная смерть? Робеспьер почувствует легкую боль в груди и погрузится в небытие! Нет, милая моя, тебя такой конец не может удовлетворить, а в мои расчеты он уже вовсе не входит!



Но это – моя забота. Ты помнишь мои инструкции?

– О, да!

– Отлично! Но во всяком случае, дай мне знать, если наши расчеты не оправдаются! А пока до свиданья!

Фушэ ушел, Адель вернулась к «собаке, которую пора было спустить с цепи».

Все это время Ладмираль безвыходно пробыл у Адели. С тех пор как под влиянием одурманивающего дыма чанду юноша погрузился в мир фантастических грез, он так и не выходил из состояния радужного опьянения. Мечта заменила ему действительность, он не страдал больше, он был счастлив.

Вино, объятия, чанду, чанду, объятия, вино... Так шли дни, все глубже затягивая мозг Ладмиралья в мертвенную беспомощность мысли. Он весь был во власти простейших растительных процессов, искра разума не освещала его побуждений и действий, и сознание не пробуждалось из той нравственной и физической темноты, которая непрерывно окутывала его.

И до того нервная система Ладмиралья была подорвана страданиями и беспрерывным пьянством. Последняя неделя «забвения» окончательно сразила ее. Теперь крепкий, скромный, неглупый юноша превратился в разнузданного маньяка!

Адель подошла к Сипьону и при свете молочного фонаря пристально посмотрела ему в лицо. Ладмираль

спал тяжелым, беспокойным сном. Дыханье тяжело и со свистом вырывалось из его груди, губы что-то шептали, руки, судорожно корчась, хватали воздух. Адель презрительно усмехнулась и принялась за работу. Она сняла занавески с окон, открыла ставни, потушила фонарь. Комната сразу потеряла все свое очарование, и лучи склонявшегося к закату солнца еще резче подчеркивали неряшливое убожество ее убранства.

Адель села в кресло и стала ждать. Вскоре Ладмираль задвигался и тоном капризного ребенка произнес:

— Тереза!

Ответом ему было полное молчанье.

— Тереза! Трубочку!

Теперь Адель презрительно засмеялась. Ладмираль удивленно открыл глаза и вдруг даже привскочил от изумления, пораженный светом, от которого отвык в последнее время. Долго он напрягал зрение, стараясь разглядеть что-нибудь, но прошло немало времени, пока он смог разобрать, что находится в какой-то совершенно незнакомой ему обстановке, в обществе посторонней ему женщины.

— Где же я? — растерянно спросил он, хватаясь за голову. — И кто — ты?

— Вот это мне нравится! — расхохоталась Адель. — Целую неделю целовал-миловал, называл своей Терезой, а теперь «кто — ты?»

Тереза, а теперь «кто — ты?».

— А... Тереза?

— Ну что Тереза? Целуется себе со своим Робеспьером! Что ей еще делать?

Сильная ярость сразу охватила Ладмираля при этом нападении. Его глаза расширились и засверкали, лицо смертельно побледнело. Он вскочил, и его правая рука невольно потянулась к поясу, как бы хватаясь за нож. Но эта вспышка сразу истощила его. Взор Ладмираля сейчас же померк, юноша вяло опустился на диван и равнодушно пробормотал:

— Пусть... все равно... трубочку!

— Ладно! И без трубочки хорош! — ответила Адель, не трогаясь с места.

Этот ответ опять вывел из равновесия неустойчивую психику несчастного маньяка. Опять безудержный гнев сразу овладел им.

— Подать сюда трубку, сказал я! — крикнул он с пеной у рта, сжимая кулаки и топая ногами. — Ну, что я сказал? Живо!

— Ах, ты, негодная тварь! — крикнула и Адель, вскакивая и вооружаясь хлыстом. — Ты еще осмеливаешься кричать да грозить? Ну, погоди у меня!

Она взмахнула хлыстом и несколько раз изо всех сил ударила им юношу.

Гнев Ладмираля сменился плаксивым смирением. Он упал на колени и пробормотал, всхлипывая и

простирая к Адели дрожащие, скрюченные руки:

– Ну прости, не сердись! Я так несчастен... Ведь ты добрая! Ты говоришь: я целовал тебя... Значит, и ты ласкала меня? Значит, тебе было жалко меня? Почему же теперь ты не хочешь сжалиться? Ах, пожалей меня, я так несчастен! Я чувствую, что прежнее страдание с новой силой просыпается в моем сердце, нет сил терпеть его... Как хорошо было не думать, не чувствовать, не страдать!.. И вот опять действительность хочет задушить меня. Ах, сжался! Дай мне хоть один маленький разочек вдохнуть этого чудного дыма! Трубочку, если в тебе есть капля милосердия, трубочку!

– Да я и рада бы, голубчик, – ласково ответила Адель, – но что я могу сделать, если у меня нет больше трубочек? Сегодня приходил полицейский и взял их все.

– Полицейский?!

– Ну, да! Робеспьер проведал, что ты скрываешься у меня, и приказал прекратить это. Он ведь на тебя очень сердит и донимает, чем может: боится, как бы ты не отбил у него Терезы!

– Он отнял у меня самое дорогое, что только было в моей жизни, а теперь хочет отнять и последнее – забвение! – крикнул Ладмираль, вновь загораясь бешенством. – Ну, хорошо же! Погоди у меня! Я... я... – Он опять затих и докончил, беспомощно хватаясь за голову: – Но что я могу сделать?

Адель внимательно следила за колебаниями

неустойчивой психики Ладмираля, которая, словно маятник под равномерными толчками, то взмывала в беспредельной ярости, то падала в мертвенном бессилии. Она видела, что эти взмахи делались все резче, и ей оставалось приложить только еще небольшое усилие, чтобы психический маятник достиг наивысшего подъема ярости. Пусть сейчас же он откачнется в другую сторону, пусть за моментом высшего напряжения последует момент полной прострации, – лишь бы было сделано нужное дело!

– Ну, конечно! – презрительно кинула Гюс. – «Что я могу сделать?»! И это – мужчина! Ну, конечно, как же было Терезе не предпочесть тебе Робеспьера! Кто станет любить жалкого труса, презренного раба, покорно подставляющего спину под удары господина? Подлая собака, поджимающая хвост, когда барин – Робеспьер шпыняет ее ногой! Что ему делать? Будь я мужчиной, разве я стала бы спрашивать об этом? Вот что дало бы мне готовый ответ! – и она с силой звякнула кривым, остро отточенным ножом, зловеще поблескивавшим стальной синевой на столе. – Но ты – трус, неспособен на проявление мужской силы! Что тебе делать? Повяжи голову платком и ступай полоскать белье вместе с бабами! Да зайди по дороге к Терезе – она даст тебе постирать робеспьеровское белье!

По мере того как Адель все усиливала поток оскорблений, изжелта-бледное лицо Ладмираля

оскаремента, пожелтевшие следы...  
багровело, жилы на висках надувались, глаза теряли свою тусклую вялость, напиваясь беспредельной яростью.

— Довольно! — крикнул он наконец. — А, значит, я — трус? Ну, так ты увидишь, увидишь!

Он схватил со стола нож и бросился к дверям.

— Смотри, по дороге не заболей от страха детской болезнью! — крикнула Адель ему вдогонку.

Но Ладмираль в ответ только прохрипел что-то и ускорил шаги.

Адель подошла к окну, высунулась и некоторое время смотрела ему вслед. Затем она с довольной улыбкой закрыла окно, плотно закрыла ставни и принялась за работу. Из соседней комнаты она принесла ворох тряпья, большую связку бумаги и баклагу с какой-то жидкостью. Разбросав тряпье и бумагу между мебелью, она облила все это жидкостью, затем вылила остатки жидкости в глиняный тазик, положила туда тряпья и поставила в середину длинную свечку. Собрав затем кое-какие бумаги и ценности в небольшую сумочку, Адель зажгла свечку и поспешно вышла из квартиры.

— Вот так! — пробормотала она, тщательно запирая дверь. — Через час дом будет в огне, а через два запылает полквартала! — и она поспешно скрылась в быстро надвигавшемся ночном мраке.

# IX

## Фушэ не дремлет

Ладмираль быстро бежал по направлению к дому Робеспьера. Вечер был изнурительно душный, улицы были почти пустынные, и редкие прохожие безмолвно сторонились при виде этой мрачной фигуры, которая была способна все опрокинуть в своем стремительном беге.

Так Сипьон добежал до глухого переулочка, в который выходил сад Робеспьера. В одном месте доска забора немного отошла, чем и пользовался обыкновенно Ладмираль, когда взбирался посмотреть на Терезу. Не выпуская из правой руки ножа, Сипьон взобрался на забор и судорожно уцепился там. Окно кабинета было освещено, и через него было видно, как Робеспьер нежно пожимал руки Терезы, которая с выражением бесконечной нежности смотрела на него.

У Ладмиралья вырвался короткий, хриплый вой, и, окончательно теряя всякую власть над собою, он одним сильным движением перемахнул в сад.

Но в тот момент, когда, присев после прыжка, он собирался выпрямиться, на его плечи легли чьи-то руки, и насмешливый голос произнес:

— Наконец-то! Мы уже давно поджидаем тебя, голубчик!

Ладмираль хотел оказать бешеное сопротивление, но четыре пары дюжих рук цепко держали его. Юноша сделал последнее усилие, рванулся и потрянул руками так, что четверо полицейских еле удержались на ногах. Вдруг его тело беспомощно съехало вниз. Припадок сильного возбуждения сменился острой реакцией, и несчастный забился в жесточайшей истерике.

Попытки добиться у Ладмиралья каких-нибудь объяснений по поводу его покушения на Робеспьера не привели ни к чему: несчастный юноша, видимо, окончательно свихнулся. Всю ночь состояние полной прострации сменялось у него припадками безумной ярости и диким бредом, во время которого Ладмираль все обещал доказать кому-то, что он — не трус. Словом, было ясно, что юношу опоили каким-то возбуждающим ядом с целью натравить его на Робеспьера, иначе говоря, пойманный был лишь орудием в чужих руках, так что арест Ладмиралья без выяснения личности подстрекателей ровно ничего не давал и нисколько не гарантировал Робеспьера от новых покушений.

Всю ночь у постели Ладмиралья сидел полицейский комиссар, тщательно записывая обрывки его бреда. Но эти обрывки не давали возможности восстановить всю картину преступления. К тому же часам к четырем утра Ладмираль перестал бредить, припадки ярости окончательно стихли, и он только слабым голосом

молил, чтобы его оставили в покое.



молил, чтобы ему дали «трубочку».

У комиссара блеснула мысль.

— Ты хочешь трубочку? — спросил он, делая вид, будто отлично знает, о какой именно «трубочке» молит арестант. — Но ведь она осталась в том доме, где ты был перед покушением! А ведь там много-много трубочек!

— Да, да, — оживился Ладмираль, — там их много!

— Ну, так ты скажи нам, где этот дом, и мы принесем тебе трубочку! — пообещал комиссар.

Глаза Ладмиралья радостно блеснули, но сейчас же погасли.

— Я не умею объяснить на словах! — упавшим голосом прошептал он.

— Но ты мог бы указать его?

— О, да!

— Отлично, мы это сейчас сделаем! — радостно воскликнул комиссар.

Он приказал заложить шарабанчик, посадил на козлы двух дюжих полицейских и сел с Ладмиралем в экипаж. Юноша был так слаб, что его пришлось снести на руках; таким образом попыток к бегству с его стороны бояться было нечего. Но для верности комиссар все же приказал надеть ему ножные кандалы.

Было около пяти часов утра, когда они выехали. Париж еще спал, на улицах никого не было; комиссар нарочно воспользовался таким ранним часом, чтобы не привлекать ничьего внимания.

Первым делом они проехали к дому Робеспьера, так как Ладмираль не мог ориентироваться от Консьержери. Из переулка, граничившего с садом Робеспьера, Ладмираль сразу взял твердый курс. Его взор оживился, движения стали увереннее. Он указывал направление и дрожащим голосом повторял: «Скорей! Скорей!» Ведь его ждала трубочка!

Следуя указанному им направлению, экипаж проследовал несколькими улицами и вдруг остановился перед пожарищем, далеко раскинувшимся влево и вправо. Ночью здесь возник пожар, причем не только причина его возникновения, но даже и очаг остались неизвестными: когда обитатели проснулись, в огне было уже домов пять, а там «красный петух» пошел гулять с крыши на крышу! Теперь распространение огня кончилось, но — и то сказать — домов тридцать превратилось в дымящиеся развалины.

Увидев пожарище, Ладмираль всплеснул руками и схватился за голову. Возница-полицейский обернулся с козел и спросил:

— Ну, куда теперь?

— Это было здесь! — с отчаянием ответил Ладмираль.

— Здесь? — яростным воплем вырвалось у комиссара. — Но где здесь? В каком месте? Каков был дом? Кто были его хозяева?

Ладмираль не отвечал. Комиссар, разочарованный

в своих надеждах, схватил его за плечо и с силою потряс, как бы вытряхивая из несчастного нужные показания.

Но юноша опять утратил всю свою кратковременную энергию. Безмолвно съехав в угол экипажа, он бессмысленно повторял:

– Это было здесь! Это было здесь!

Так от Сипьона ничего и не добились.

Робеспьер распорядился, чтобы покушение Ладмиралья держалось втайне. По его мнению, это было единственным способом пролить хоть немного света на это темное дело. Пусть те, кто подстрекнул безумца на убийство, успокоятся, подумав, что дело почему-либо не удалось, и скомпрометируют себя какой-нибудь неосторожной выходкой.

Однако не в таком городе, как Париж, можно было удержать втайне подобное происшествие. Неведомыми путями слухи о покушении побежали по городу, а к вечеру стало известно даже имя преступника.

Вечером Фушэ доложили, что его желает видеть какая-то девушка. Ею оказалась Сесиль Рено.

– Фушэ, – сказала Сесиль, когда ее провели в кабинет, – ты всегда все знаешь! Скажи мне, правда ли то, что говорят? Неужели Ладмираль покушался на убийство Робеспьера? Я не могу поверить этому! Ладмираль! Да ведь он всегда отличался именно недостатком энергии излишней мягкостью! Нет, тут

недостатком энергии, излишней мягкостью: нет, тут что-то не так!

— Видишь ли, милочка, — ответил Фушэ, — я, конечно, знаю подоплеку этого дела, потому что случайно был как раз там поблизости. Но, понимаешь, теперь не такое время, чтобы можно было открыто говорить правду! Дело должно быть представлено не так, как оно было, а как его угодно представить «самому», поэтому, если ты хочешь его спасти, то откажись от этой мысли! Робеспьер не выпускает добычи из своих рук! Мало ли, что я знаю! Но если бы ради тебя я и согласился выступить свидетелем, то...

— Свидетелем! — презрительно повторила Сесиль. — Разве во Франции существует суд? А раз нет суда, к чему свидетели? Нет, Фушэ, я прошу сказать правду лишь мне лично и поверь, я не отплачу тебе за это черной неблагодарностью! Все, что ты сообщишь мне, умрет между нами!

— Ну, в таком случае... Видишь ли, никакого покушения не было вообще.

— Не было?

— Нет! Вчера утром я встретил Ладмиралья на улице. Он был пьян и имел ужасный вид. Еще бы! Он чуть ли не неделю шатался по самым мерзким притонам! Я силой увел несчастного к себе, отрезвил его, а потом задал головомойку. Я говорил ему, что его поведение недостойно мужчины и приличного человека, каким он

был прежде. К чему он гоняется за Терезой, с которой все равно никогда не был бы счастлив, и топчет сердце хорошей девушки, которая способна озарить всю его жизнь! Да, да, Сесиль, я так и сказал ему! – заметил Фушэ, увидав, как вспыхнула девушка. – И, представь себе, он как будто склонился на мои увещания. Тогда я стал поддавать жара. Разве его не связывала самая теплая дружба с маленькой Сесилью. Он сам не понимает своего сердца; к Терезе его влечет слепая страсть, которая скоро погаснет, а любит он только милую Сесиль Рено! Ладмираль задумался и ответил, что я, пожалуй, прав, но он все же сделает еще одну последнюю попытку, объяснится с Терезой, и если она решительно скажет ему еще раз, что не может любить его, тогда он выкинет ее из головы, вновь возьмется за работу и будет просить у своей подруги детства, чтобы она простила его и стала его женой.

– О, с радостью, со счастьем! – вырвалось у девушки.

На это Фушэ продолжал:

– «Вот посмотри! – сказал я Ладмиралю, – народит тебе Сесиль полдюжины ребят, так ты о всех Терезах на свете забудешь!» Он задумался, улыбнулся – в первый раз улыбнулся после долгого времени – и сказал: «Как знать, быть может, ты прав». Ну, вот... Он пошел объясняться с Терезой. Объяснялись они в саду, а я стоял за забором и все слышал: я сторожил Ладмиралья, чтобы

сейчас же увести его к тебе, а то опять свихнется, пожалуй. Как я и ждал, Тереза прямо ответила Сипьону, чтобы он не приставал к ней, так как из этого все равно ничего не выйдет, а чтобы он шел лучше к тебе. Сказала она это и ушла из сада. Ладмираль постоял-постоял, да и повернулся к выходу. Вдруг в сад вошел Робеспьер, вернувшийся раньше времени домой. Ну... что тут долго рассказывать? Робеспьер рассердился, увидав Ладмиралья, приревновал его, что ли. Откуда ни возьмись – полицейские. Избили Ладмиралья так, что он лишился разума. Ну, а потом его же обвинили в покушении на Робеспьера... А вот теперь я сижу и трясусь: вдруг дознаются, что Ладмираль был у меня перед этим. Ведь Робеспьер не постесняется отправить на эшафот и меня тоже!

Сесиль выслушала весь рассказ, не прерывая его ни единым словом. Она была чрезвычайно бледна, и только ее глаза сверкали, как уголья. Когда Фушэ кончил, она глухо сказала:

– Не беспокойся! Больше Робеспьер никого не отправит на эшафот! Спасибо тебе, Фушэ!

С этим она повернулась и вышла из комнаты. А часа через два после этого в доме Робеспьера опять поднялся переполох. Сен-Жюст, придя к Робеспьеру и не застав его дома, решил подождать в кабинете. Но там он застал какую-то молодую девушку, вооруженную двумя ножами. Блвччи арестована. левмшка не стала

скрывать, что она забралась в кабинет с целью убить Робеспьера и избавить Францию от тирана. В дальнейшем она ответила, что ее зовут Сесиль Рено, что она действовала из личных побуждений и сообщников не имеет. Больше она ни на какие вопросы отвечать не пожелала.

Теперь Робеспьер уже не стал облекать покушение на него в покров тайны. Сопоставляя последовательность обоих покушений и близкие отношения, существовавшие между обоими преступниками, он уже не сомневался в наличии целого заговора, направленного против республики и ее души — Робеспьера. И это повергло его в ужас — не в тот подлый, животный ужас, который охватывает мелкую душонку в страхе за свою шкуру, а в ужас маньяка, мнящего себя пророком. Одновременно с этим в его душе пробудились с новой силой две мысли. Раз Верховное Существо чудесным образом спасло его два раза подряд, значит, Оно и в самом деле видит в нем Своего избранника, а эти два покушения Оно допустило для того, чтобы открыть ему глаза и указать на гибельность того пути, по которому он чуть было не пошел.

На следующий день Робеспьер произнес в конвенте сильную речь, посвященную этим двум покушениям. Он говорил о гибельности милосердия и спасительности

террора, говорил о том, что измена таится повсюду — даже в самом конvente — и ее надо тщательно выместить. Члены конвента испуганно переглядывались во время этой речи. Никто не чувствовал себя в безопасности, и потому никто не нашел ни слова в ответ диктатору. Ряд новых кровавых мер был декретирован беспрекословно.

И опять посыпались кровавые приговоры. Последовал приказ о передаче дела Люсиль Дюмулен в трибунал, и вскоре несчастная женщина заплатила головой за момент вдовьего отчаяния при виде казни мужа. Она была не одна. Ведь начался период страшных «fourne es»<sup>[13]</sup>, когда обвиняемых гуртом отправляли под нож гильотины, не считаясь ни с чем. Среди безвестных имен казнимых попадались такие, которые громоподобным эхо отдавались по всему миру. Так был казнен Лавуазье<sup>[14]</sup>. Кому, для чего могла понадобиться его смерть? Никто не сможет ответить на этот вопрос.

По делу Ладмираля и Рено следствие было проведено очень энергично. Сообщников и подстрекателей найдено не было, но процесс покушавшихся на убийство «самого Робеспьера» вышел бы недостаточно эффективным, если бы судили и казнили только двоих. Поэтому в качестве сообщников стали хватать без разбора, кого попало. Нахватали пятьдесят четыре человека и сейчас же представили их перед трибуналом. Был прочтен обвинительный акт, присяжные заявили, что дело совершенно ясно, а



потому всякая процедура в виде допроса свидетелей, защиты и т. п. совершенно не нужна. Тут же был вынесен приговор, и он гласил – смерть!

Гильотина была уже готова, палач с помощниками уже ждали свою фуρνэ. Но им пришлось подождать еще немного. Осужденных первоначально одели в красные балахоны, посадили в телеги и прокатили по всему Парижу.

Собственно говоря, в красные балахоны рядили только отцеубийц. Но разве Робеспьер не был «отцом народа»?

Весь мир негодовал, парижане растерянно недоумевали, конвент трясся от ужаса. Только Фушэ хохотал и радостно потирал руки.

**Х**

## **Разрыв**

На другой день после казни «Ладмиралья и Рено с сообщниками» в Париж вернулся Ремюза. Вся его душа истосковалась по Люси, ему страстно хотелось поскорее заглянуть в ее чистые глазки, поскорее прижать ее к своей груди. Но Ремюза был человеком долга. Привезенные им сведения были чрезвычайно важны и требовали немедленного обсуждения. Французский флот задержал английский, загородив ему дорогу. Конечно,

англичане разобьют в конце концов на море французов, так как суда последних чрезвычайно плохи и команды совершенно не обучены. Зато благодаря смелости флота, шедшего на верную гибель, англичанам пришлось пропустить двести кораблей с хлебом, идущих из Америки для помощи голодающему населению западных департаментов.

Вся душа Ремюза была полна радости и торжества, когда он ехал в конвент, чтобы сообщить Робеспьеру эту отрадную весть. Но в конвенте Робеспьера не было, а в те полчаса, которые провел Ремюза в ожидании, его радостное настроение значительно померкло и потускнело: слишком уж страшно было то, что рассказали ему конвенционелы. Геберисты, дантонисты, а теперь просто «фурнэ»; казни на фоне подлогов и лжесвидетельств; разнузданность единовластия под соусом республиканской свободы. И это — обновление?

Ремюза чувствовал, что у него все мешается в голове и ему нужно время для приведения мыслей в порядок. Он уехал к себе домой и послал человека с запиской к Робеспьеру, надеясь, что диктатора не будет дома и он сможет в течение некоторого времени оставаться наедине со своими мыслями. Но Робеспьер был дома и жаждал видеть Ремюза как можно скорее.

Их встреча вышла неловкой. Робеспьер вышел навстречу Ремюза с радостно взволнованным лицом, в искреннем порыве простер к нему руки; однако Ремюза,

поддаваясь какому-то смутному, тревожному недовольству, ограничился сухим, официальным поклоном. Робеспьер вздрогнул, опустил руки и отступил на шаг, обдавая гостя взором, в котором чувствовались лед и пламя. Но пламя тут же погасло, лед растопился в тихой грусти.

Всякому другому такая встреча стоила бы головы. Не из личных счетов, не из оскорбленного самолюбия, нет, а из простого рассуждения, логичность которого вполне вытекала из маниакальности Робеспьера: «Ты не отвечаешь на мой порыв, значит, ты — против меня, следовательно, ты таишь измену». Но Ремюза был одним из тех немногих, почти единственным, кого Робеспьер никак не мог заподозрить в предательстве, в изменнических кознях. В чем же дело?

Как хотелось Робеспьеру просто, мягко, задушевно спросить у Ремюза, чем объясняется его странное поведение. Но диктатор и без того сознавал, что внезапная грусть пробралась за нерушимую броню его души. Эта грусть и так лишала его привычной твердости, в которой он видел всю свою силу, а разговор о причине грусти мог еще более размягчить его. И Робеспьер ограничился молчаливым жестом, которым пригласил гостя войти и сесть. Но все время, пока Ремюза докладывал о положении дел, в мозгу диктатора вертелся неотвязный вопрос: «В чем дело?»

Ремюза был сух в рассказе и ограничивался строго

Ремюза был сух в рассказе и ограничивался строго деловой сутью, не позволяя себе впадать в отступления; Робеспьер же был молчалив, задумчив и грустен. Наконец доклад кончился. Воцарилось неловкое, смущенное молчанье; каждому хотелось прервать его, и никто не знал, как это сделать.

Из затруднения их вывел быстрый топот легких ножек, послышавшийся в соседней комнате. Услыхав его, Робеспьер облегченно вздохнул, а Ремюза вскочил с места, забыв обо всем на свете... Люси! Наконец-то!

Ремюза хотел броситься навстречу девушке, обнять ее, но она остановила его на полпути жестом и сказала:

— Жан, милый Жан, как я счастлива видеть тебя! Но пока не подходи ко мне! Сейчас мне придется поставить ребром один важный вопрос, и я еще не знаю, что ты ответишь мне. Может быть, ты отречешься от меня, так к чему же тогда...

— Я от тебя? — с негодованьем воскликнул Ремюза. Но тут же он заметил, как бледна и взволнована Люси, и испуганно спросил: — Люси, что случилось?

— Робеспьер! — громко и торжественно произнесла Люси, не отвечая на вопрос жениха и подходя к столу, где сидел Максимилиан. И как странно звучало это обращение по сравнению с обычным «дядя Макс»! — Робеспьер! Я вышла сегодня утром из дома, чтобы снести хлеба и мяса бедной, больной старухе. Этой старухе семьдесят лет, болезнь лишила ее возможности

двигаться, горе затемнило разум. Но я не застала этой старухи дома. Соседи сказали мне, что ее казнили вчера утром – казнили по твоему приказанию, казнили за то, что Ладмираль – ее сын. Отвечай мне, правда ли это? Правда ли, что Максимилиан Робеспьер вымещает свою злобу на престарелых калеках?

Робеспьер хотел прикрикнуть на Люси, указать ей ее место, приказать немедленно замолчать, и вдруг почувствовал, что не может даже хотя бы возвысить голос. С ним бывало иногда, что его охватывали непонятная нерешительность, необъяснимое смущение; одна из таких минут впоследствии и погубила его. Так и теперь вместо грозного окрика он только поднял на Люси скорбный взгляд строгих глаз и тихо спросил:

– Кто поставил тебя судьей надо мной? По какому праву ты требуешь у меня отчета?

– Разве нужно какое-нибудь особое право, чтобы спросить у человека: «Скажи, могу ли я уважать тебя? Могу ли считать тебя своим близким»? – пылко ответила Люси.

– Так вот до чего дошло дело! – тихо сказал Робеспьер, покачивая головой. – Люси, Люси! Сколько раз я просил тебя не говорить со мной о таких вещах.

– Ну еще бы! Ведь тебе нечего ответить мне! Или ты опять будешь повторять мне старую сказку о солдате, который кончает жизнь самоубийством на ответственном посту? Полно! Казнь старухи Ладмираль

лишает тебя права отговариваться этим!

— А ты хочешь снова начать твердить мне старую сказку о милосердии и справедливости? Помнишь день, когда я поддался твоим призывам к милосердию? Много ли — не дней, а часов прошло, как преступная слабость принесла свои плоды? Или ты тоже будешь повторять подлую сплетню, которую распустил обо мне какой-то презренный негодяй, будто никакого покушения не было вовсе?

— Да как ты не понимаешь, что все эти покушения, все эти заговоры являются прямым следствием твоей кровавой политики? Ты обесценил жизнь, никто во Франции не уверен, что удержит голову на плечах, а потому не дорожит ею. Но что я буду говорить с тобой! Разве ты способен понять что-нибудь? Ведь ты — больной человек, твое место — в доме для сумасшедших. С той минуты, как ты не мог дать мне ответ по поводу казни старухи Ладмираль, ты уже произнес приговор нашим отношениям. Под кровлей человека, действия которого я не могу одобрять, я оставаться не хочу. Сейчас утро, но предстоящая ночь не застанет меня здесь! Да, с тобой кончено, Робеспьер! Теперь я обращаюсь к тебе, Ремюза. Хочешь взять меня? Тогда возьми! Мы можем сейчас же обвенчаться — ведь в это тревожное время венчают без всяких формальностей! Но я могу вручить тебе свою судьбу лишь при одном условии. Ты должен отказаться от какого-либо участия в

делах этого преступного правительства! Ты должен сложить все полномочия и зажечь частным человеком — до той минуты, конечно, когда над Францией не взойдет солнце истинной государственной правды! Человек, которого я могу любить без остатка — а иначе я не признаю любви, — должен быть чист от политики Робеспьера! Жан, согласен ли ты со мной? Не бойся сказать мне «нет»; я готова ко всему!

— Существует очень хорошая поговорка: «чего хочет женщина, того хочет Бог», — хрипло сказал Робеспьер. — Но ведь мы, французы, — галантный народ! Мы не прибавляем: «любимая женщина», хотя это подразумевается... Ну, так что же ты молчишь, Ремюза? Если бы ты был мужем Люси, ты мог бы еще думать. Но ведь ты — жених, а ведь в этом состоянии у рядового человека страсть затемняет все остальное!

— Ты не прав, Робеспьер, — тихо ответил Ремюза. — Я люблю Люси больше всего на свете, но только не больше долга и чести. И даже ее любовь не могла бы заставить меня отступить. Только я и сам думаю, как она, я и сам вижу, что ты пошел неправильным путем.

— Вот как! — с горечью перебил его Робеспьер. — Давно ли ты увидел это? А мне кажется, что «гражданин Азюмер» в своей брошюре страстно оправдывал террор! И как недавно еще мне пришлось слышать из твоих собственных уст, что «исключительное время требует

---

исключительных мер». А теперь ты уже готов отречься от всего ради красивого лица глупой женщины! — Он закрыл лицо руками и отвернулся, бормоча: — Сколько разочарований! Сколько разочарований!

— Повторяю, что ты неправ, Робеспьер! — грустно ответил Ремюза, тронутый той трагедией, которую он ясно чувствовал в душе одинокого диктатора. — Я оправдывал и оправдываю террор как *временную* меру. Когда лошади взбесились и понесли, всякая мера хороша для кучера, если эта мера способна сдержать испуганных лошадей и спасти их самих, колесницу и кучера от гибели. Но где же у нас конец временному, где начало постоянному? Я понимаю, что, прежде чем начать строить новое здание, надо разрушить и снести старое. Но вот старое снесено, пора приступить к строительству, а ты... ты продолжаешь ломать и крушить все без разбора, ты сметаешь прочь даже то, что могло бы служить опорой возводимому зданию. Робеспьер, я верил в тебя, как в Бога! Но теперь ужас охватывает меня! Мне начинает казаться, что ты неспособен к творческому строительству. Я знаю, что ты искренен, ты веришь в свою работу. Но могу ли я принимать в ней участие, раз сам-то я не верю в нее. Идти с тобой рука об руку, значит, оправдывать все, что ты сделал и делаешь. Могу ли я оправдывать твои действия, раз в моих глазах казнь геберистов была неосторожностью, казнь дантонистов — преступлением, а то, что творится теперь,



кажется мне кошмаром больного мозга. Всего только несколько часов провел я в Париже, Робеспьер, а ведь я уже совершенно болен, болен от запаха крови, от воплей ужаса, которыми пропитан парижский воздух. Я не могу больше! Я не хочу этих трупов! Я схожу с ума!

— Как и я! — тихо уронила Люси.

— Я шел к тебе с тем, чтобы откровенно признаться в невозможности дальнейшей совместной работы! — продолжал Ремюза. — Скажу честно, я дорого дал бы, чтобы отсрочить этот разговор. Я боялся, что Люси, как близкая тебе, станет в нашем разногласии на твою сторону и что мне придется потерять бесконечно любимую девушку. Но поверь, Робеспьер, все равно, даже, если бы Люси не поставила мне тех условий, на которых она только и согласна стать моей, ты услышал бы из моих уст те же слова!

— Чего же ты хочешь? — спросил диктатор, резко оборачиваясь к Ремюза.

— Я прошу освободить меня ото всех официальных обязанностей!

— Отечество не может освободить граждан от обязанности служить ему! Только служением отечеству и определяются все значение, весь смысл слова «гражданин»! Отказывающийся трудиться на благо родины не лучше изменяющего ей. А изменникам... — Робеспьер сделал резкое, отсекающее движение ладонью.

— Что ж, я готов даже и к этому! — с грустной улыбкой ответил Ремюза. — В последнее время в Париже головы так подешевели, что их теряют на каждом шагу! Но я предпочитаю скорее потерять голову, чем любовь Люси и собственное уважение. Только не верится мне, Робеспьер, чтобы ты действительно пошел на это! Или, по-твоему, было бы лучше, если бы я, не говоря ни слова лично тебе, остался здесь и стал исподтишка интриговать против тебя, как какой-нибудь Фушэ? А ведь я говорю тебе: «Отпусти меня из Парижа, потому что не считаю себя вправе ни бороться против настоящего правительства, ни идти с ним рука об руку!»

На лице Робеспьера отразилась краткая борьба, но, видно, непривычная мягкость продолжала еще владеть его сердцем. Помолчав немного, он резко спросил:

— Где ты будешь жить, если республика освободит тебя от обязанностей по отношению к ней?

— У меня в Пикардии уцелело имение... Там, в трудах и заботах о земле, мы с Люси... — ответил Ремюза, но вдруг умолк, охваченный глубоким волнением.

Робеспьер встал и несколько раз прошелся по комнате. Вдруг, подойдя вплотную к Ремюза и взяв его за пуговицу фрака, он резко спросил:

— Можешь ли ты дать мне слово, что не будешь из сельской глуши интриговать против меня, что заживешь там, как и другие люди?

там как частное лицо?

— Робеспьер, ты обижаешь меня!

— Да? А не я ли обижен тобою? Но теперь не время считаться личными обидами. Отвечай!

— Даю тебе слово, что против тебя и твоей власти я никогда интриговать не буду!

— Хорошо! — сказал Робеспьер, отпуская пуговицу Ремюза. — Ты свободен! Ступай и будь счастлив!

Он отвернулся. Но было что-то настолько горькое в его тоне, что Ремюза невольно остался стоять на месте. Наступила минута молчания. Ее нарушила Люси.

— Ремюза, — сказала она, — я иду к себе, чтобы привести себя в порядок и собрать кое-какие вещи. О, только свои собственные и притом самые необходимые! Я хочу все с самого начала получить от тебя, пусть ничто не напоминает мне о...

— Люси! — стоном вырвалось у Робеспьера. — Мы расстаемся навсегда! Неужели у тебя не найдется ни слова для меня на прощанье?

— Нет, Робеспьер, — жестко ответила Люси, — все слова уже сказаны, нам больше не о чем говорить.

— Ну, а у тебя, Ремюза? — с горечью спросил Робеспьер. — У тебя тоже не найдется для меня слова на прощанье?

— Робеспьер! — ответил Ремюза, подойдя к недавнему другу и во внезапном порыве положив ему руки на плечи. — Я готов бы жизнь отдать, чтобы этой

минуты не было! Но что делать, если и это невозможно... Будь счастлив, Робеспьер, если можешь! До свиданья!

Невольно их губы сомкнулись в последнем дружеском поцелуе. Затем, мягко освобождаясь из его объятий, Робеспьер сказал:

– До свиданья? Нет, прощай, друг Ремюза! Наши дороги разошлись, чтобы не встретиться никогда! Я иду своим тяжелым, тернистым... одиноким путем, ступай и ты своим! Прощай! Прощай! – и Максимилиан, нежно подтолкнув Ремюза к дверям, долго смотрел ему вслед. Уже давно замерли шаги Люси и Ремюза, а Робеспьер все стоял и смотрел. Потом он тяжело опустился на диван и, хватаясь за голову, простонал: – Один! Один!

– Один? – нежной укоризной прозвучал над его ухом голос Терезы, и ее мягкие руки охватили его шею. – А я? Разве я не с тобою?

Вместо ответа Робеспьер схватил Терезу и судорожно привлек ее к себе.

Волна долго сдерживаемой страсти нахлынула на его мозг и все смыла, все затопила в этот миг, когда бесконечное страдание от ощущения полного одиночества сломило волю.

Забыто было все, все великие идеи, все гордое самообольщение власти духа над презренной материей. Только природа пела свой извечный победный гимн о торжестве непреложных законов, которым – неволей,

добром ли – подчинено все живое на земле. И вся охваченная радостью обладания, вся пронизанная трепетом страсти, Тереза приникла к любимому, тогда как ее губы шептали:

– Наконец-то!

Одна из самых страдальческих минут в жизни Робеспьера стала для Терезы минутой высшего счастья. Такова жизнь!

## **ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ**

### **и последняя – не только в этом повествовании, но и в жизни самого Робеспьера**

#### **I**

#### **Старуха Тео**

«Мы готовим празднество в честь Высшего Существа!» – сказал Кутон на следующий день после казни Дантона. Конвент, а за ним и Париж облегченно перевели дух. Празднество в честь Высшего Существа? Значит, кровожадность Робеспьера хоть на время утолена? Значит, можно будет хоть на время отдохнуть от всех этих ужасов?

Первые дни казалось, что надежды на отдых имеют основания. Но это только казалось. После нескольких дней затишья оргия кровавого пира возгорелась снова, и притом с небывалой ожесточенностью. Голос цифр убедительнее всего может доказать, в какую страшную форму вылилась диктатура Робеспьера после того, как он избавился от стеснявших его свободу умеренных элементов. За четырнадцать месяцев – от 3 апреля 1793 года до 1 июня 1794 года – смертных приговоров было вынесено 505, а с 1 июня по 30 июля 1794 года их было 2158. Таким образом, если на первый период в среднем приходилось по одной казни в день, во второй казнили в день по тридцать шесть человек!

И вдруг среди всего этого ужаса конвент был потрясен известием, которое показалось чудовищным даже в то страшное время: Робеспьер не оставил мысли об устройстве празднества в честь Высшего Существа!

Это показалось таким богохульством, перед которым отступали и терялись все ребячливые попытки геберистов. Действительно ведь, отвергая Бога и уничтожая религию, геберисты поступали, как дети, которые, отправляясь в шкаф уворовать шоколадку, поворачивают портреты родителей лицом к стене, чтобы «папа и мама не видели». Робеспьер, заставляя между двумя массовыми казнями декретировать, что французский народ признает бытие Высшего Существа и бессмертие души, а между двумя другими — чествовать

этим смертным душам, а между двумя другими — существовать это Высшее Существо, не отвергая Бога, плутил над Ним. И невольно во время речи диктатора некоторые из членов конвента с опасением посматривали вверх, как бы ожидая, что небесный гром уложит на месте дерзкого богохульника.

Но Небо молчало, и притихший конвент смиренно декретировал все, что пожелал Робеспьер. Никто не помышлял оказать сопротивление кровавому диктатору. Правда, где-то в самой глубине, в самых недрах, уже копошилась мысль о необходимости положить предел этой страшной власти и остановить «телегу, которая готова подвезти к гильотине всю Францию». Барэр, Фушэ, Тальян, Фрерон, Бурдон, Лекуантер, Лежандр, Колло, Билло и многие другие работали, не покладая рук, над подготовкой 9 термидора [\[15\]](#). Но никто из них не хотел подставлять первым свою голову. Их работа шла в тиши и тайне. Снаружи Робеспьер встречал только покорность и угодливость. Конвент беспрекословно декретировал все, что приказывал комитет общественного спасения, а Робеспьер, передавая эти приказы, сплошь да рядом даже не спрашивал, хотя бы для вида, согласия того комитета, от имени которого он выступал! Таким образом все органы власти сосредоточились в одном Робеспьере. Конвент собирался только для декорации, его заседания почти не посещались. Из более чем пятисот членов конвента на

заседания зачастую не являлось и сотни, да и из явившихся многие ускользали перед подачей голосов. Тем непривычнее казалась картина заседания 4 июня, когда собралось 485 членов конвента и когда все они, как один человек, вотировали одно и то же. Но ведь в этот день производилась баллотировка Робеспьера в президенты конвента. Решился ли бы кто-нибудь не явиться на выборы, а явившись — голосовать против его кандидатуры? Робеспьер оказался выбранным единогласно!

В силу декрета о праздновании признания бытия Верховного Существа и бессмертия души функции первосвященника должен был исполнять президент конвента. Только ради этого и выставил Робеспьер свою кандидатуру. Жадные до зрелищ парижане, воображение которых уже давно дразнило затейливое празднество, с нетерпением ожидали исхода голосования в Тюильрийском саду. Ведь все отлично понимали, что Робеспьер не уступит никому чести выступить в качестве первого жреца им же самим созданной религии. А вдруг Робеспьера «прокатят»? Тогда и празднеству не бывать! А ведь гильотина начинала приедаться, кроме нее давно уже не было других развлечений!

Толпа с нетерпением ожидала решения, волнуясь, споря, смеясь и оживленно жестикулируя. Это была все та же парижская толпа, живость и жизнерадостность



которой не могли подавить никакие ужасы.

Несколько в стороне от толпы, прямо на земле, сидела странного вида старуха. Босоногая, вся в лохмотьях, с головой, увенчанной копной седых волос, с выцветшими безумными глазами, в которых читались безысходная скорбь и напряженный поиск, она казалась существом не от мира сего, древней пророчицей, сошедшей с полотна старого мастера. Видно было, что эта старуха внушает толпе, особенно женщинам, чувство суеверного ужаса. Ей почтительно кланялись, но спешили пройти мимо, так что, несмотря на тесноту, вокруг старухи всегда оставалось свободное место. Она же напряженно всматривалась в лица проходивших мужчин, и ее губы скорбно шептали:

– Не Он!.. Опять не Он!

Но вот в толпе поднялось какое-то движение. «Выбрали! Выбрали!» – передавалось из уст в уста, и толпа двинулась вперед, к выходу, у которого появилось несколько конвенционелов.

Теперь старуха осталась совершенно одна.

– И здесь я не нашла Его! – скорбно прошептала она, глядя вслед бегущей толпе. – Нигде... нигде!.. – и, облокотившись о скамейку, возле которой она сидела, старуха запела тихим, старческим голосом, тогда как из ее глаз катились крупные слезы:

Громко плачет в небе Богоматерь.

Льет на землю чистые слезинки...  
Ах, опять сошел Христос на землю,  
Чтоб спасти заблудшихся и грешных.  
«Ты вернись, вернись, о, Сыне милый!  
Люди злы, Твоих забот не стоят,  
Вновь они Тебя со злобой встретят,  
Осмеют, подвергнут истязаньям!»  
Но не внял Божественный Страдалец  
Безутешной Матери молениям,  
И Она Сама на землю сходит,  
Отыскать следы Его стараясь.  
Ходит, плачет, ищет... не находит...  
Всюду кровь, неправда и распутство...  
Отлетели ангелы в испуге  
От земли, погрязшей в гнусной скверне.  
«Ой, вы, люди, злые, злые люди!  
Вы скажите Матери несчастной,  
Где Мой Сын, где Мой Христос Пречистый?  
Или снова вы Его убили?»  
Но в ответ смеются злобно люди,  
Ведь они Христа совсем не знают  
На престоле, кровью обгабленном,  
Сатана ликуя восседает!  
Так в слезах и ходит Богоматерь,  
Средь людей Христа найти стараясь...  
Ступит где – цветы там вырастают,  
Где оползшие горы истонились

Звук громких голосов заставил старуху вздрогнуть и поднять глаза. По дорожке опять шла кучка народа. Это был Фушэ, окруженный жаждащими узнать последние новости, которых у расстриги всегда бывал свеженький запас.

— Да, да, друзья мои, — говорил Фушэ, разводя руками и поворачивая голову во все стороны. — Выбрали, конечно, выбрали! Но что прикажете делать? Робеспьеру мало было стать французским королем, ему нужно сделаться Господом Богом!

Громкий смех покрыл эту фразу, и добрая половина из окружавших Фушэ отпрянула от него, чтобы поскорее сообщить новое словцо своим знакомым. Париж любит меткую шутку — и к вечеру весь город со смехом твердил пущенную расстригой крылатую фразу!

Удовлетворив, как мог, любопытство окружающих, Фушэ сказал:

— Ну-с, господа, а теперь до свиданья! Мне нужно сказать два слова гражданину Дюрану!

Он взял толстяка под руку и пошел с ним дальше, тогда как остальные повернули обратно.

При приближении обеих старуха подняла голову и пытливым взглядом впилась в лицо Фушэ. В этот момент Дюран сказал:

— да, кстати, Фушэ... ты ведь всегда все знаешь! Правда ли, что...

При этих словах старуха вскочила с легкостью, какой трудно было ждать от ее немощности и возраста, и, подбежав к Фушэ, сказала с выражением бесконечной мольбы:

— Добрый господин! Я слышала, что вы всегда все знаете, так не можете ли вы сказать мне, где мой Сын?

— Твой сын? — улыбаясь спросил Фушэ, — Нет, мое всезнайство не простирается так далеко! Я не знаю, кто — ты, могу ли я знать, где твой сын?

— Да, да... — пробормотала старуха, отходя обратно на свое место и вновь опускаясь на землю. — Нас теперь уже никто не знает... никто... Ах! — Ее глаза наполнились слезами. — Сколько земель уже исходила я в поисках Его! Я выплакала все слезы, я истерла ноги до крови, и нигде... нигде...

Ее бормотанье перешло в душу надрывающий плач.

— Бедная женщина! — сказал Фушэ. — Наверное, ее сын погиб в одной из фурнэ?

— Как, да ты действительно не знаешь ее? — удивился Дюран. — Ну, ну, я первый раз вижу, что Фушэ чего-нибудь не знает! Да, ты прав! Старуха Тео ищет Кое-Кого, Кто погиб в одной из фурнэ, но только это было очень давно... так лет более тысячи семисот тому назад! И Погибшего трудно найти теперь во Франции, которая стала истинным царством дьявола из-за этого

проклятого Робеспьера!

— Я ровно ничего не понимаю, друг мой! — ответил Фушэ, пожимая плечами.

Тогда Дюран рассказал ему историю старухи Тео.

Она была родом из Прованса, принадлежала к зажиточной крестьянской семье, промышлявшей рыболовством. Наряду с редким счастьем, ее преследовало страшное несчастье. Никто во всем селении не мог похвастаться таким богатым уловом, как мужчины в ее семье. В самое бедное время года их сети бывали полны рыбой, и самые крупные, самые ценные экземпляры попадались непременно у мужа или сыновей Тео. Но за это море брало с нее страшную контрибуцию: один за другим гибли все, кого любила Тео. Утонули муж, затем старший сын, второй, третий. Наконец остался только младшенький, Жак, которого Тео любила больше всех. Теперь эта любовь перешла в обожание. Тео тряслась над Жаком, заставляла его отказаться от рыболовства и не позволяла ему выходить в море: она имела сбережения, проживут и так. Но море требовало своего. Однажды Жак купался с товарищами близ берега в совершенно безветренную погоду. Вдруг он вскрикнул и исчез под водой. Его труп так и не нашли. Разум Тео не выдержал, а тут еще местный кюре, желая утешить несчастную женщину, привел ей в пример Богоматерь, которая тоже убивалась по Своем Сыне. И вот в померкшем разуме старухи родилась

безумная мысль, что она — Богородица. Слова старой легенды, в которой описывается, как Христос опять сошел к людям, чтобы вразумить заблудшее человечество, и как Богоматерь в виде бедной странницы исходила всю землю, разыскивая Его, придали окончательную форму ее помешательству.

— И вот, — закончил свой рассказ Дюран, — с тех пор она все ходит и ищет Христа. Народ относится к ней с суеверным... — он вдруг остановился, заметив, какой сатанинской радостью осветилось лицо Фушэ, и, перебивая сам себя, сказал: — Бьюсь о заклад, что ты что-то надумал и что я недаром рассказал тебе эту историю!

— Да, ты прав, милый мой Дюран, — ответил Фушэ; затем он подошел к старухе и, наклонившись к ней, сказал: — Пойдем со мной, добрая женщина! Кажется, я все-таки сумею помочь твоему горю!

## **II**

### **Празднество в честь Высшего Существа**

С утра восьмого июня парижане, принарядившись и разодевшись в лучшие одежды, толпой повалили к тем местам, где должен был проходить кортеж. Но больше всего народа собралось около Тюильри, где для членов конвента была выстроена эстрада и где и должна была произойти главная часть торжества.

Был чудный день; солнце светило ярко и радостно с безоблачного неба, и, казалось, что Париж никогда не был ареной тех ужасов, что уже второй год свершались в нем. Лица зрителей дышали беззаботной радостью; гильотина была убрана с площади Революции, и народ, вопреки всякой логике, готов был верить, что она не появится там более. Впрочем, вернее будет сказать, что парижане вообще не думали о гильотине и казнях. Они изголодались по празднествам и торжествам и теперь стремились лишь к тому, чтобы не упустить хоть какую-нибудь деталь из развернувшейся перед ними картины.

А эта картина была в самом деле очень эффектна. Вот к эстраде потянулась вереница членов конвента с букетами в руках. Впереди всех шел Робеспьер. Он был одет во фрак небесно-голубого цвета при напудренном парике, а букет, находившийся у него в руках и составленный из колосьев, цветов и плодов, был значительно больше размерами и наряднее, чем букеты остальных его товарищей. Словом, все подчеркивало, что Робеспьер считает себя не «первым между равными», а высшим среди низших!

Взойдя на эстраду, Робеспьер поднялся на устроенную в ее центре трибуну, вокруг него расположились музыканты, и празднество началось. Сначала был исполнен торжественный хорал в честь Высшего Существа, затем Робеспьер произнес блестящую речь, прославляя бога, которого он дал

Франции. Затем, при звуках музыки, он спустился в сад, сопровождаемый конвенционелами. Со всех сторон теснился народ, рукоплескавший и разражавшийся приветственными криками. Народ радовался давно невиданному зрелищу, выражал свой восторг перед блестящей картиной, а Робеспьер принимал все это на свой счет. Он шел, глубоко задумавшись, опьяненный всем этим шумом и блеском. На мгновение ему показалось, что он достиг всего, к чему стремился в мечтах. Да, словно огненный столп, ведущий Израиль к обетованной земле, он мощно увлек Францию к идеалам правды и добра и, словно столп, высоко возносился над всем этим народом своей добродетелью и мудростью. Он – Божий избранник, он призван исполнить великую миссию, на нем – печать Духа.

Пронзительный крик, раздавшийся из толпы, и что-то черное, парахнувшееся со стороны к нему под ноги, пробудили его от сна.

«Покушение?» – испуганным воплем пронеслось в его душе.

Робеспьер резко остановился, отшатываясь и простирая вперед руки. Произошло замешательство. Шедшие сзади сделали еще несколько шагов по инерции и расплылись вокруг Робеспьера широким полукругом. Музыканты, заквакав что-то несуразное, остановились на фальшивом аккорде, из цепи кинулись полицейские.

Но это не было покушение. У ног Робеспьера



но это не было покушение. У подножия Робеспьера лежала, обнимая его колени, старуха Тео, которая плакала и смеялась, выкрикивая непонятные слова.

— Кто ты и что тебе нужно, добрая женщина? — спросил Робеспьер, оправившись от первого испуга.

— Неужели ты не узнал меня? — со скорбной укоризной воскликнула безумная. — Я исходила весь мир, отыскивая тебя, я выплакала море слез, я истерла до костей ноги, вот, когда я наконец нашла тебя, ты отрекаешься от меня? Но нет, это невозможно! Ты, всеблагий и всемилостивый, не вонзишь бедной матери меча в сердце! О, мой Христос, о, мой возлюбленный сын! Ты вновь спустился на землю, чтобы спасти заблудшее человечество! Слава тебе, всеблагий! — она благоговейно приложила к кончику башмака Робеспьера, затем быстро вскочила и, подняв руку, обратилась к толпе: — Слушайте меня, люди, слушайте ту, которая родила вам Искупителя! Когда в первый раз Он пришел к вам с ветвью мира в руке и проповедью добра на устах, вы не признали Его! Он явился к вам кротким агнцем, а вы замучили Его! Ныне Он опять придет к вам! Вместо ветви мира — карающий меч в деснице Его и в устах Его грозное слово суда! Горе вам, если вы и теперь не признаете Его! Горе вам, если вы добровольно не дадите Ему огнем и железом исцелить вас от вашей скверны! Мера терпения Бога-Отца уже измерена, и переполнилась чаша гнева Его! Горе вам,

мытари и фарисеи, матери и жены, отцы и дети, юноши и старцы! Горе вам всем! На всех изольет Господь гнев свой, и огненный дождь спалит вас, нераскаянных и неисправимых! Кайтесь, падите ниц перед Ним, или горе вам! – и, пламенно сверкая глазами, старуха с поднятой рукой двинулась прямо на расступавшуюся перед нею толпу, не переставая восклицать: – Горе вам, горе, горе, горе!

Робеспьер знаком подозвал к себе полицейского комиссара и спросил его:

– Кто эта женщина?

– Это – старуха Тео, гражданин! Она потеряла когда-то единственного сына и от горя сошла с ума. Воображает себя Богородицей!

– Бедная! – с сочувственным вздохом сказал Робеспьер, глядя в сторону, где виднелась поднятая высоко над головой изможденная рука старухи и слышался ее пронзительный, истерический голос. – Ее надо поместить в дом умалишенных.

– Осмелюсь доложить, гражданин... – начал Брусье, но Робеспьер, сделав нетерпеливое движение плечом, прошел дальше, не слушая объяснений комиссара.

Брусье вспыхнул и кинул вслед Робеспьеру злобный взгляд.

– Вот всегда он так! – тихо сказал он подошедшим к нему Фушэ и Билло Варену. – Вzbредет ему что-нибудь на ум, так хоть кол на голове теши! Отправить в дом

умалишенных! Да ведь у нас даже больницы обращены в тюрьмы, а не то что сумасшедший дом! Мне буйных помешанных девать некуда. Просто ума не приложу, что делать!

— А ничего не делать! — посоветовал Фушэ. — Пусть себе гуляет на здоровье старушка Божья! Оно и хорошо. Эк, подумаешь, человек карьеру сделал! Королем стал, так мало — папой парижским задумал стать! А дальше уже как по маслу: из пап его прямо в Спасители пожаловали! Погодите только, Робеспьер и в самом деле прикажет особым декретом признавать себя за Иисуса Христа! Сумасшедшая или нет — старуха Тео, ему дела нет! Знаете, как по пословице: «доброму вору все впору».

— Я даже думаю, что эта Тео — вовсе не сумасшедшая, — заметил Колло д'Эрбуа, подошедший к ним во время речи Фушэ. — Вернее всего, что Робеспьер подстроил всю комедию!

— Ну, в том, что Тео — сумасшедшая и что Робеспьер испугался, когда она кинулась к нему, не может быть никаких сомнений, — возразил Фушэ. — Однако мне приходит в голову совсем другая мысль. Представьте себе, друзья мои, что безумная — вот совершенно при таких же обстоятельствах — произвела в Спасители кого-нибудь из нас. Так вот, как по-вашему: долго ли удержалась бы на плечах голова и самой «богородицы», и ее опознанного «сына»?

— Ну, во всяком случае до завтрашнего дня! — ответил Билло. — Раньше гильотины не поставят!

Тем временем нарушенный порядок шествия восстановился. Музыканты опять заиграли торжественный марш, ряды конвенционелов выровнялись, и процессия двинулась дальше.

И опять Робеспьер шел, глубоко задумавшись. Эта встреча со старухой Тео глубоко потрясла его. Напрасно он твердил себе, что нет границ для большой фантазии и что весь этот пламенный бред — только бред и больше ничего. Вопреки доводам разума где-то в уголке души копошилась беспокойная мысль, что старуха с частым у безумных ясновидением прозрела в нем Божьего избранника, мессию, посланного очистить Францию от скверны. Неужели в нем и в самом деле почитает частица Божественной силы, снова воплотившейся ради спасения человечества?

Робеспьер поднял глаза к небу, как бы надеясь прочесть там ответ на все свои сомнения, как вдруг его пронзила страшная мысль. Но ведь, если... если это... так, то... Боже мой!

От пророков и великих учителей человечества всегда прежде всего требовалось целомудрие, чтобы голос мятежных страстей плоти не заглушал гласа Божия в душе. А он... он изменил этому завету! И с болезненной яркостью Робеспьеру вспомнился момент

-----

его падения.

Оно случилось в том состоянии полной душевной растерянности, когда после ухода Люси и Ремюза Робеспьер испугался предстоявшего ему одиночества. И когда Тереза нежно приникла к нему, он не нашел в себе силы бороться с искушением.

О, каким острым наслаждением был полон этот сладостный миг! Но по мере того, как, удовлетворяясь, страсть редела, словно туман под лучами утреннего светила, по мере того как знойная сказка любви ускользала, уступая место трезвой действительности, в душу стали заползать уныние, тоска, страх...

В то время Робеспьер не уяснил себе природы этих ощущений – у него было слишком много забот, чтобы предаваться самоанализу, и только теперь он вдруг сразу понял, что означало его смущение.

Ну, конечно! Это был страх ответственности за содеянное! Вот и сегодня прямо из объятий Терезы он отправился служить Всевышнему, и устами, еще не остывшими от страстных лобзаний, вознес хвалу Творцу! Простит ли Высшее Существо такое святотатственное оскорбление?

Душой Робеспьера вдруг овладел безумный ужас, и, словно стараясь убежать от самого себя, он невольно ускорил шаг, опередив товарищей.

«Эти несколько шагов погубили его!» – восклицают все биографы Робеспьера. И действительно, это

движение, отразившее в себе лишь внутреннее волнение Робеспьера, было истолковано как желание подчеркнуть свое превосходство. Увидев, что Робеспьер, подходя к воротам сада, а, следовательно, выставляя себя взорам многотысячной толпы, поспешил выскочить вперед, Фушэ подтолкнул Билло Варена, Билло шепнул несколько слов Колло д'Эрбуа, Колло переглянулся с Барэром и Лекоантром. Уже давно они говорили между собою о необходимости покончить с диктатурой, но пока их намерения еще не выходили за пределы бездейственных пожеланий, теперь же все шло к тому, чтобы разжечь их решительность. А Робеспьер сам подлил масла в огонь. Остановившись у выхода и хмуро обводя ряды конвенционелов потускневшими глазами, он сказал им:

– До свиданья, господа! Сегодня мы отдали дань священнойшим требованиям души, а завтра, вернувшись к своим трудам, с удвоенной энергией станем разить врагов отечества!

При последних словах Робеспьер уставился на Барэра и ровно ничего не думал при этом, этот взгляд был чисто механическим – едва ли даже Робеспьер видел того, на кого смотрел. Но Барэр, чувствовавший за собою кое-какие грешки, истолковал этот взгляд по-своему. Мысль о необходимости начать действовать, назревшая под влиянием этого празднества и обострившаяся ввиду «нескольких шагов» Робеспьера,

получила окончательную, ясную, бесповоротную формулировку благодаря последним словам диктатора.

— Господа, прошу вас ко мне сегодня вечером часам к семи. Мы не можем долее терпеть такое положение и должны обсудить, что нам делать! — наклонившись к ближайшим соседям, шепнул Барэр, а затем, взяв Бурдона под руку, тихо сказал ему: — Ну, а ты ко мне обедать, конечно? Зозо и так уже ворчит, что ты давно не показываешься!

### **III**

## **Опасность близится**

Зозо, или Зоя Барэр, смуглая, крепкая брюнетка, встретила брата и жениха довольно неприветливо.

— Сердится! — шепнул Бурдону Барэр, несколько побаивавшийся пылкой и властной сестренки, и, желая, как он часто выражался, «перекинуть мост через ее дурное настроение», заискивающим тоном обратился к ней: — А жаль все-таки, что ты не пошла, Зозо! Было очень-очень интересно!

— А кто стал бы обед готовить? — резко ответила она.

— Ну, пообедали бы где-нибудь в ресторане, не велика беда! Ведь обед бывает каждый день, а такое празднество...

— А ты, может быть, хотел бы, чтобы было наоборот? — буркнула девушка. — Слава Богу, что подобная богомерзкая ерунда устраивается не каждый день; это доказывает, что в вашей безмозглой республике есть хоть капля здравого смысла!

— Да что ты, собственно, имеешь против этого праздника, милая Зозо? — примирительно вступился Бурдон.

— А то, что вы, взрослые люди, ходите на поводу у какого-то одурелого, взбесившегося фанатика! — отрезала Зоя. — Вас много, а он один; все вы втихомолку жалуетесь на невыносимый гнет, все вы в тиши поносите Робеспьера на чем свет стоит, и никто из вас не решается хоть пальцем двинуть, чтобы сбросить наложенное на вас ярмо! Тьфу! Думать противно! Да что с вами и говорить — трусы, жалкие трусы! Тряпки! Только слова даром трачу, а там у меня курица пережарится! — и девушка, энергично отмахнувшись рукой, стремглав выбежала из комнаты.

— Гм, гм... — крикнул Барэр, взял Бурдона под руку и увлек его на терраску, где уже был накрыт обеденный стол. — Подобное настроение Зозо не предвещает ничего хорошего в смысле кулинарных восторгов, и можно поручиться, что все будет испорчено. Но Боже тебя спаси, Франсуа, если ты осмелишься проявить недостаток аппетита и не накинешься настряпню Зозо с таким восторгом, как будто кушанья изготовлены самим



главным поваром покойного короля! Зато, если мы отдадим честь поварскому таланту сестренки, к концу обеда она положит гнев на милость!

Но опасения Барэра оказались напрасными: обед получился очень удачным. Сардинки свежего июньского лова, только что прибывшие из Бретани, аппетитно шипели и потрескивали, подпрыгивая в дымящемся масле, и большая сковорода была мигом уничтожена. Луковый суп с копченой свиной грудинкой заставил еще издали жадно затрепетать ноздри. А куски курицы, из которой ручьями бежал сок, заманчиво выделялись золотисто-коричневой кожицей и белизной мяса на нежной зелени молодого, в меру заправленного салата.

По мере того как яства исчезали с тарелок обедающих, лицо Зои прояснялось все более и более, и к десерту, состоявшему из сыра, миндаля и земляники, она уже совсем милостиво сказала:

— Ну, рассказывайте!

Барэр и Бурдон принялись рассказывать о празднестве. Зоя внимательно слушала, вставляя иронические замечания, но, когда рассказ дошел до старухи Тео, она сразу стала очень серьезной и задумчиво заметила:

— Трудно даже учесть, какими страшными последствиями чревата эта выходка юродивой старухи! При своем мрачном фанатизме Робеспьер неминуемо усмотрит в прописаниях Тео знак особого

услышав в пророчествах то же слово  
благословения небес на дальнейшие кровавые подвиги.  
Боже мой, Робеспьер под видом карающего Христа!..

— Да, как видно, он уже проникся этой ролью! — заметил Барэр. — Прощаясь с нами, он заявил, что завтра мы со свежими силами примемся истреблять врагов отечества. Должен прибавить, что при этом он посмотрел на меня таким взглядом, который предвещал мало хорошего!

— Что же тут и говорить, — грустно ответила Зоя. — Твой черед скоро придет, Бертран, очень скоро! Но ты сам виноват! Ты слишком легко пожертвовал Робеспьеру Дантоном и его друзьями. Ведь в душе ты не разделял мнения о крайней опасности дантонистов и просто пожертвовал ими ради собственного спокойствия. Но Робеспьер ненасытен, его аппетит растет по мере еды. Идя все дальше по пути «моя хата с краю», ты без протеста уступишь этому новому Молоху террора Тальена, Билло, Колло, Фрерона, Лежандра. Затем наступит черед самых близких тебе — погибнут Лекуантер, Дюваль, Одуэн, Вилат... Бурдон. А там придет и твой черед... И останусь я совсем одна, без брата и мужа, лишенная последнего утешения: возможности оплакивать погибших, потому что нельзя оплакивать тех, кто погиб лишь из-за недостатка решимости отстаивать свое право на жизнь!

— Нет, на этот раз ты ошибаешься, Зозо! С меня

довольно, я не намерен терпеть долее! Я уже позвал на сегодня кое-кого из друзей – скоро они придут, и мы обсудим, что нам следует предпринять в ближайшем будущем!

– Да? Это радует меня. Только выйдет ли что-нибудь из вашего совещания? Ведь я уже давно наблюдаю за вами. Вы никогда не совещаетесь, не договариваетесь, а лишь... стараетесь подзадорить друг друга: ну-ка, ты вот рискни, а я посмотрю, что из этого выйдет!

– Зоя, что ты говоришь! – рассерженно воскликнул Барэр.

– Правду, Бертран, чистую правду, которая, конечно, не всегда бывает приятна. Но что нам спорить? Подождем, и как рада буду я, если окажусь неправой!

Но она оказалась права, эта мужественная, решительная, смелая девушка! Вскоре один за другим в дом стали собираться приглашенные, и когда Барэр открыл совещание, сразу выяснилось, что Зоя совершенно точно и верно определила характерную манеру всей этой компании. Все соглашались, что положение дошло до границ напряженности, что жить долее в этой обстановке невыносимо; все единогласно утверждали, что корень зла – в Робеспьере, что, устранив Максимилиана, они все будут в состоянии передохнуть. Но как только дело доходило до вопроса, каким образом вырвать этот «корень зла», тут наступал

момент замешательства.

Только двое – Лекуантер и Тальен – выделялись из всей массы этих осторожных и нерешительных людей. Но Лекуантер говорил о решимости убить диктатора<sup>[16]</sup>, что было крайне опасным разрешением вопроса. Ведь не сама по себе тщедушная фигурка Робеспьера, а, так сказать, «идея робеспьеризма» создала опасность положения. Героическая смерть диктатора от ножа убийцы могла лишь вознести эту идею. Робеспьер должен был погибнуть как преступник.

Это как раз и ответил Тальен в горячей речи; но и он не мог указать путь, которым следовало привести Робеспьера на скамью подсудимых. Конечно, объединись сейчас все недовольные, и конвент завтра декретировал бы предание диктатора суду. Но за Робеспьера стояла парижская коммуна, пушки генерала Анрио внушали робкое почтение, и никто не хотел первым совать голову в петлю.

Фушэ был особенно разочарован этим собранием, на которое возлагал большие надежды. Нож гильотины уже нависал над шеей расстриги. Робеспьер был отлично осведомлен об истинной роли Фушэ, которому теперь пришлось сбросить маску и действовать открыто. Конечно, это не значило, что Фушэ отказался от подпольной интриги. Нет, ведь это было его сферой, и мы уже видели из истории с обожествлением Робеспьера, что он по-прежнему пользовался каждым

Робеспьера, что он по-прежнему пользовался каждым случаем оплести диктатора новым слоем паутины. Но помимо этой тайной роли, Фушэ стал теперь открыто порицать усиление террористических мер, открыто осуждать политику диктатора, и ему было отлично известно, что в тайные проскрипционные списки уже было занесено его имя. Правда, черед Фушэ был дальний: на первом плане значились те, кто казались Робеспьеру более опасными своим влиянием на народ. Но как знать, решатся ли заговорщики выступить против диктатора вовремя? Фушэ рассчитывал, что результатом этого собрания явится планомерный заговор, а на самом деле заговорщики установили лишь известного рода соглашение воспользоваться обстоятельствами, если наступит благоприятный момент. А вдруг этот благоприятный момент наступит тогда, когда голова Фушэ будет уже лежать в корзине близ гильотины?

Все эти мысли тревожили Фушэ, когда он вышел от Барэра вместе с Бурдоном. Фушэ с досадой думал, что почти все «доски для гроба Робеспьера» выстроганы им самим или при его ближайшем соучастии, и можно было с ума сойти от бешенства при мысли, что этот «гроб» пригодится тогда, когда он, Фушэ, будет лишен возможности воспользоваться одержанной победой!

Но почему же не удастся дать последний толчок так хорошо задуманному делу, чем объясняется эта нерешительность? Только ли боязнью пушек Анрио? Но

разве гильотина Робеспьера милостивее? И почему Тальен, бывший прежде сдержаннее всех в этой компании, вдруг проявил такое воодушевление и энергию?

Фушэ высказал свое удивление вслух:

– А Тальен-то, Тальен каков, а? И откуда у него только прыть взялась, просто не пойму!

Бурдон насмешливо улыбнулся и ответил:

– Разве ты не знаешь, что невеста Тальена с начала прериала сидит в тюрьме? Тальен с ума сходит при мысли, что она вот-вот попадет в ближайшую фурнэ!

Фушэ даже остановился на мгновение при этих словах. Какая простая, очевидно ясная мысль, и к каким блестящим выводам приводит она! Ну, конечно, личный мотив – вот что может побороть нерешительность, вот что прогонит страх перед коммуной и ее пушками! Насмешливо поглядывая на Бурдона, опять погрузившегося в мечтательную задумчивость, и вспоминая пламенный поцелуй Зозо при прощании с женихом, Фушэ подумал:

«Погоди, милый мой, когда наступит нужный момент, вы с Барэром получите от меня подарок, который прибавит вам прыти а-ля Тальен!»

## IV

### К пропасти

«Завтра, возвращаясь к своим трудам, мы с удвоенной энергией станем разить врагов отечества!» – сказал Робеспьер, прощаясь с товарищами после празднества в честь Высшего Существа, и уже на следующий день Париж должен был познать всю весомость этих слов.

Действительно, на следующий день Кутон внес на рассмотрение конвента новый закон, окончательно отдававший Францию в руки Робеспьера и его ближайших помощников – Кутона и Сен-Жюста.

Этот закон («закон 22 прериаля») предписывал каждому гражданину доносить на заговорщиков и арестовывать их без всяких доказательств или формальностей, на основании одного внутреннего убеждения, которое и для судьи также должно было быть решающим элементом в вынесении приговора. Впрочем, что касалось этого приговора, то большого выбора судье не было предоставлено: смертная казнь была единственным наказанием, полагавшимся по этому закону. Мотивируя необходимость введения этого закона, Кутон между прочим обмолвился следующим афоризмом: «Единственный срок для наказания врагов отечества – время их поисков; впрочем, дело идет вовсе не об их наказании, а об их уничтожении».

Но кто же – эти «враги отечества»? Кутон дал исчерпывающую характеристику им. Враги отечества –

не только те, кто вступает в заговор с иностранцами, но в большей степени те, кто старается испортить нравы и развратить общественную совесть.

«Те, кто старается испортить нравы». Кого только нельзя было подвести под это определение! А ведь по новому закону предание суду происходило непосредственно по воле комитета общественного спасения.

Конвенционелы сразу поняли опасность, грозившую всем и каждому в случае принятия этого закона. Бурдон внес поправку, гласившую, что право предания суду депутатов принадлежало одному только конвенту. Но на следующий день на заседание явился сам Робеспьер, чтобы отстаивать чистоту внесенного им закона. Сказав в своей речи, что поправка явилась плодом партийной тактики, он грозно воскликнул:

— В конвенте могут существовать только две партии: партия добрых и партия дурных граждан!

Иначе говоря: всякий, восставший против законодательных предложений диктатора, уже тем самым относился им к врагам отечества, а следовательно... заслуживал гильотины!

И снова мрачная логика Робеспьера произвела свое действие. Депутаты поспешили засвидетельствовать чистоту намерений, а Бурдон, принявший слова Робеспьера за выпад лично против него, имел неосторожность воскликнуть:



— Я — не злодей!

Робеспьер мрачно и пытливо уставился на Бурдона, не отвечая ни слова, и под этим взглядом неосторожный депутат побледнел, съежился, даже стал меньше ростом. Наконец послышался ответ Робеспьера, и каждая нотка его холодного, скрипучего голоса наполняла сердца конвенционелов страхом и ужасом смерти.

— Я не называл имен, — гласил этот ответ, — горе тому, кто сам называет себя!

Этим был достигнут полный эффект. Конвент поспешил покаяться, закон «22 прериала» был восстановлен в первоначальном виде.

Теперь Робеспьер достиг полного всемогущества. Все трепетало перед ним, все покорно склонялось. Одним мановением руки он мог послать на смерть сотни и тысячи людей любого пола, возраста, сословия, положения, заслуг. Настало время открыть свои карты.

Ведь террор как система был не нов. Все выдающиеся государственные люди пользовались всеми мерами и способами, не брезговали ни тюрьмой, ни ядом, ни кинжалом, не находили никакой низкой интриги слишком грязной, если дело касалось расчищения их пути к власти. Но, достигая это власти, они открывали свои карты, предъявляли свой тайный план, так как террористические методы были лишь средством, а целью было осуществление этого взлелеянного в тайниках души плана. Таков был.

например, Ришелье. Его путь к власти был усеян трупами; но, когда его власть оказалась обеспеченной, он стал планомерно и стройно проводить свой план возвеличения Франции. И эта страна получила благодаря ему финансы, армию и законы.

Но у Робеспьера не было никакого плана, никакой государственной мечты. Фанатик, мечтатель и моралист, он отвлеченно мечтал о водворении и утверждении «царства добрых», не зная иной практической меры для этого, кроме истребления «злых». Таким образом, террор был для него и средством, и целью, террором исчерпывалась вся его государственная мудрость, вся административная логика. И став всемогущим, Робеспьер проявил свой государственный ум в том, что удвоил число казнимых!

Только теперь его поняли окончательно, только теперь увидели его в настоящем, истинном свете, осознали, что на этом пути Робеспьер не может остановиться. Ведь он не стремился ни к каким реформам, а следовательно, не могло наступить такое время, когда он сказал бы: «Теперь довольно!»

Ужас и отчаяние объяли всех, но на открытое выступление все еще никто не решался.

И вот тогда-то обратились к той тайной политике, которую уже давно проповедовал и вел Фушэ. Надо было с чрезмерной, преувеличенной яркостью

выставить всю нелепость робеспьерова строя, надо было окончательно скомпрометировать самого Робеспьера в глазах народа, чтобы к моменту нападения диктатор не мог опереться на массы. И вот враждебные Робеспьеру члены комитета общественного спасения стали усиливать террор, хватая и казня кого попало именем Робеспьера.

Настали ужасные времена; во все существование республики не было периода, более страшного и более нелепого. В страшные сентябрьские дни, когда народ ворвался в тюрьмы, тоже было перебито немало, но все пострадавшие тогда принадлежали к числу лиц привилегированного сословия, с которым у народа были старые суровые счеты, тут была хоть какая-нибудь логика. А теперь три четверти, если только не больше, казнимых принадлежали к самой отчаянной гольтыббе: меч республики обратился против того самого народа, именем которого он действовал и благом которого прикрывался!

Да, конец июня и весь июль казались каким-то страшным кошмаром. Пришлось открыть новые кладбища, палачи заболели от переутомления. Несколько десятков почтенных депутатов не ночевало дома из боязни ареста и казни. Крикунов хватали на улицах и отправляли на казнь за их беспокойное поведение; тех же, кто забивался в свой уголок и молчал, арестовывали и казнили за то, что, притаившись, они

могли замысливать преступление. Никто уже ничего не замыслил, так как в страхе за жизнь всякая мысль замирала. Зато все нечистое, все мерзкое и злодейское подняло голову. Закон 22 прериаля вменял каждому в обязанность доносить, основываясь лишь на одном предположении, без каких-либо фактических доказательств. Жены, жаждавшие избавиться от нелюбимых мужей, сыновья, торопившиеся поскорее вступить в наследство после богатого отца, соперник, не знавший ранее, как устранить соперника, прислуга, уличенная хозяевами в воровстве, вот тот элемент, который в первую голову спешил использовать этот закон.

Париж стал приходить в полное отчаяние, отчаяние породило нечто вроде храбрости. Все чаще и чаще стали возникать вспышки народного недовольства. Гильотину пришлось убрать с площади Революции и перенести в другое место. Каждый день можно было ждать страшного бунта. Фушэ только на этом и строил свое спасение. Но толчок должен был быть дан из самого конвента, а большая часть его оставалась нейтральной.

Мы должны напомнить теперь читателю то, что мы говорили относительно распределения партий в конвенте. Центр занимала так называемая «равнина» (или «болото»). Ее политикой было гнуть спины и соглашаться с сильнейшим. С помощью «равнины» Робеспьер устранил Дантона, с ее помощью он держал

всех в завороженном трепете, и только с помощью «равнины» же можно было свалить Робеспьера!

Шли дни, кровавый пир все увеличивал бесстыдство своего разгула, ужас все шире и дальше простирал свои когтистые лапы. Террор начинал парить уже над головами Барэра и его приятелей. А они все еще колебались и надеялись, что какая-нибудь случайность избавит их от риска выступать первыми. Но наконец настал момент, когда даже трусы вынуждены были проявить храбрость!

Робеспьер уже видел, что он зарвался, чувствовал, что остановиться необходимо, но не знал, как это сделать. Колесница Джагернаута<sup>[17]</sup>, которую он все время толкал, теперь увлекала вперед его самого, увлекала... к пропасти!

Наступили первые дни термидора — двадцатые числа июля. Робеспьер, долгое время не появлявшийся ни в конвенте, ни в комитетах и руководивший всеми делами из недр якобинского клуба, решил нанести последний удар своим врагам. Выступив на ближайшем заседании конвента, он потребовал очищения состава комитетов. В этой речи он совершенно ясно напал на крайнюю левую и сделал попытку добиться симпатий равнины и даже «фельянов» (тайных монархистов). Это было видно из следующей фразы. Опять повторив, что он не знает иных партий, кроме партии добрых и

дурных граждан, Робеспьер воскликнул:

— Патриотизм — дело личного чувства, а не партийности. Где бы мы ни встретили честного человека, на каком бы месте он ни сидел, следует протянуть ему руку и прижать его к своему сердцу.

Уже в этом заключалась прямая угроза: Робеспьер отчетливо давал понять, что патриотизм монтаньяров не может спасти их от казни. В конце речи этот намек был подчеркнут еще яснее. Коснувшись некоторых религиозных вопросов, Робеспьер сказал между прочим:

— Нет, Шомет, нет, Фушэ, смерть — вовсе не вечный сон!..

Но ведь Шомет уже давно погиб под гильотиной, и Фушэ усмотрел в этом сопоставлении явное доказательство, что теперь черед дошел и до него самого. А умирать он не хотел, о, нет! И Фушэ увидел, что настал момент, когда надо «спустить курок».

Нерешительность конвенционелов в значительной степени зависела от Барэра и Бурдона. В особенности был важен последний, как имевший вес и значение среди «фавнины». И вот вечером Робеспьер получил анонимный донос, обвинявший Зою Барэр в агитации против его диктатуры.

Через час Зоя была арестована и отведена в тюрьму, через два — у Барэра собрались созванные им конвенционелы, чтобы столкнуться и решиться на что-нибудь. Явившийся на это собрание Фушэ представил

добытый им неведомыми путями клочок бумаги, на котором рукой Робеспьера был записан ряд имен. Не было сомнений в том, что это — проскрипционный список. Большинство присутствующих увидело в списке свои имена. Теперь трусить долее значило подставлять голову под нож гильотины. Враги Робеспьера набрались наконец решимости!

## V

### Последний акт трагедии

Наступил решительный день восьмого термидора. Еще накануне конвент робким, послушным молчанием встретил заявление Кутона, что необходимо напечатать речь Робеспьера и разослать оттиски во все провинциальные коммуны. Каково же было удивление Робеспьера, когда теперь это предложение вызвало бурю протестов, а Билло Варен категорически потребовал, чтобы текст речи был предварительно отдан на рассмотрение тех комитетов, которых в этой речи Робеспьер обвинял в разных преступлениях.

— Как? — с негодованием воскликнул Робеспьер. — Вы хотите отдать мою речь на рассмотрение тех самых людей, которых я обвиняю?

— Назовите тех, кого вы обвиняете! Да, да, назовите их! — слышались энергичные голоса.





Задолго до полудня туда стали собираться депутаты, в последние месяцы избегавшие посещения общих собраний. К началу заседания зал был полон!

Первым на трибуну вышел Сен-Жюст. Стараясь запугать депутатов грозными взглядами, он произнес речь, содержанием которой было обвинение половины членов конвента в заговоре против революционного правительства. Но ему не дали договорить до конца, его заставили покинуть трибуну, и тогда его место занял Тальен, осмелившийся в страстной речи прямо и открыто напасть на Робеспьера.

— Да, — сказал Тальен, воодушевленный мыслью теперь или никогда спасти свою невесту, — заговор действительно существует, но заговорщики — якобинцы, и главный предатель — Робеспьер. Пора наконец заговорить открыто! Этот человек связал всю волю народного конвента... Граждане! Вчера, присутствуя на заседании якобинцев, где подготавливался возмутительнейший переворот с целью окончательно подавить народную волю, я решил вооружиться кинжалом и проколоть грудь Робеспьеру, если у конвента не хватит храбрости декретировать предание его суду!

Конвент аплодисментами встретил эту речь.

Наконец и Робеспьеру удастся занять трибуну. Однако его никто не хочет слушать, его слова заглушаются криками «долой тирана!» В смущении,

обращаясь к «фавнине», он говорит:

– Я говорю не с разбойниками, – жест в сторону монтаньяров, – а с вами, честные люди!

Но тут происходит нечто совершенно неожиданное: робкая, молчаливая, послушная «фавнина» разражается оглушительным криком:

– Долой тирана!

Ведь среди «фавнины» – Бурдон, а ему надо спасти свою невесту, свою Зозо.

Робеспьер смущен, окончательно подавлен.

– Как? – восклицает он в последнем приливе энергии. – Вы...

Но тут его голос прерывается: волнение душит его.

А со скамеек депутатов несется звонкий, отчетливый голос:

– Это кровь Дантона душит тебя, Робеспьер.

Ответом на этот возглас является единодушный рев всего зала:

– Арестовать! Арестовать!

Тут же вопрос о предании суду ставится на голосование и принимается единогласно. И снова многоголосое чудовище ревет:

– Обвиняемые... к решетке!

Робеспьер поникает головой и идет к решетке. О сопротивлении он не думает. Он мог бы поднять народ, коммуну. Но это было бы мятежом против законной власти конвента. Робеспьер остается добродетельным по

власти конвента. Робеспьер остается добродетельным до конца: он мог направлять власть, но сопротивляться ей он не станет!

Да, день девятого термидора был чудным заключительным аккордом в жизни Робеспьера, последним штрихом, окончательно обрисовавшим его личность. Робеспьер не был дурным человеком, он только взялся не за свое дело, искренно думая в то же время, что призван к этому делу!

Робеспьера отвели в Люксембургскую тюрьму, но смотритель отказался принять арестанта без приказа от коммуны. Среди арестовавших произошло весьма понятное смущение, но тут положением овладел Робеспьер. Приказ об аресте дан конвентом, конвент — олицетворение народа, воля народа должна быть исполнена. Робеспьер указал, что надо с ним сделать: пусть его отведут в полицейское управление на набережной Орфевр.

Чтобы дорисовать поведение Робеспьера в этот день, забежим несколько вперед. Под вечер в полицейское управление явились делегаты коммуны, чтобы освободить Робеспьера. Но он отказался последовать за ними; когда же его увели силой, он протестовал со всей энергией, повторяя;

— Вы губите республику!

Но его все-таки отвели в здание ратуши, где уже находились его брат Огюстен, Леба, Кутон и Сен-Жюст.

Здесь и разыгралась страшная сцена, последняя в этом заключительном акте трагедии.

Тем временем две женщины, словно парки, работали над участью Робеспьера. Одна страстно напрягала все свои силы, чтобы удлинить нить его жизни, другая делала все, что могла, чтобы прервать эту нить.

Как только Робеспьер был призван «к решетке», по рабочим кварталам, рынкам и площадям понеслась Аделаида Гюс. Растрепанная, с развевающимися, спутанными волосами, одетая в какие-то лохмотья, сверкая глазами, она везде возвещала об аресте Робеспьера. Это известие принималось в общем довольно спокойно и скорее радостно. Конечно, из любопытства люди осведомлялись, как же это могло случиться, и тогда Адель отвечала, что Робеспьер изобличен в страшном заговоре против республики. Только теперь выяснилось, что он был тайным монархистом. Вот потому-то он и неистовствовал так в казнях, чтобы под видом мятежников истребить всех якобинцев и обеспечить возвращение на трон Бурбонов. Теперь Робеспьер окончательно изобличен: у него нашли компрометирующую переписку и печать с лилиями!

Известие о мнимой измене Робеспьера было встречено довольно равнодушно. Народ был так терроризирован, так угнетен ужасами последних дней,

что ему было совершенно безразлично, какую форму правления ему навяжут. Поэтому обычно единственным ответом на объяснения Адели был облегченный вздох и слова:

– Ну, слава Богу! Теперь конец гильотине!

Таким образом, со стороны протонародья нечего было ждать заступничества за Робеспьера. Предместья, где жили более зажиточные классы, тоже оставались совершенно спокойными, так как среди них было много дантонистов и геберистов. Поэтому лишь со стороны коммуны и подчиненных ей войск национальной гвардии можно было ожидать некоторой опасности.

Но коммуна, собравшись при известии о падении Робеспьера, на первых порах выказала нерешительность. Воспротивиться конвенту? Гм... это было не так уж просто!

Но тут на сцену выступила другая женщина – Тереза Дюплэ. Ворвавшись в зал заседания коммуны, она в пламенной речи пристыдила малодушие коммунаров и с восторгом услышала, что ее слова произвели свое действие: начальнику национальной гвардии Анрио, тому самому, который однажды уже разогнал пушками конвент, отдается приказ двинуться на освобождение Робеспьера!

Но и Адель не дремлет.

И тут наступает фантазмагория судорожной непитательности. Анрио объезжает улицы, призывая к

оружию; но конвент, извещенный об этом, посылает жандармов; те связывают генерала и увозят в комитет общественной безопасности. Видя это, Тереза бежит в коммуну, снова молит, грозит и проклинает, и коммуна командирует Кофиналя освободить Анрио, что тот и делает.

Вскоре Анрио с канониками и гвардейцами уже стоит перед зданием конвента, готовый разгромить пушечными выстрелами гнездо народного представительства. Но среди солдат ужом вьется Адель. Она хохочет, иронизирует, дразнит, ругается... Как? Солдаты хотят выступить против конвента? Да разве конвент — не народ? Разве сами они, гвардейцы, — не народ? Что же, в самих себя станут они стрелять, что ли? Да и что им надо? Разве их начальник не освобожден? Разве генерал Анрио не с ними?

Среди солдат смущение. Как же это так? А ведь и в самом деле, чего им надо? Да здравствует генерал Анрио! Но к чему трогать конвент? Говорят, что депутаты решили не расходиться с заседания, пока не вынесут всех необходимых решений, чтобы урегулировать положение. И в них стрелять?

Солдаты смущены, солдаты в нерешительности. Анрио приказывает, грозит, ругается. Солдаты отвечают ему заздравными криками, но с места не двигаются. Тогда Анрио отправляется в коммуну за приказаниями.

Опасный момент, нельзя терять ни минуты! Если Анрио вернется с официальным приказом от коммуны, солдаты могут и послушаться. Все пропало тогда! Опираясь на военную силу, Робеспьер вернется к власти, и тогда... тогда...

Вне себя Адель летит к Фушэ с докладом. Фушэ вполне разделяет ее тревогу и волнение. Собирается небольшая кучка конвенционелов. Решение выносится быстро: пусть вооруженные жандармы проникнут в ратушу и захватят Робеспьера... *живым или мертвым*. Остальная часть инструкции дается шепотом на ухо жандарму Мерда, которому поручается командование отрядом. В то же время Баррас от имени конвента уже формирует воинские силы, способные дать отпор войскам коммуны. Лишь бы только не упустить Робеспьера!

Жандармы идут к ратуше; Адель, вся застывшая в радостном предвкушении гибели своего врага, идет за ними.

Вот и ратуша. Грозное молчание царит вокруг нее. С одной стороны уже придвинулись канониры Анрио, ждущие начальника и его распоряжений, с другой – собираются отряды, организованные Баррасом. Все молчат, все ждут.

Жандармы с Аделью кое-как пробираются к самой ратуше. Дверь в зал заседаний заперта изнутри, ее взламывают. Взяв пистолеты на прицел, Мерда входит

туда со своими людьми и Аделью.

Максимилиан Робеспьер сидит в кресле, тяжело задумавшись и подперев голову левой рукой. Робеспьер-младший и Леба стоят у окна. Кутон и Сен-Жюст тихо переговариваются в другом углу. Видно, что они смущены, не знают, на что решиться. Да и как решиться, если в ответ на все их призывы Робеспьер неизменно отвечает:

– Вы настаиваете, что надо употребить силу? Но чьим же именем употребим мы ее?

Да, он до конца верен себе, и даже теперь, когда в сознании близкого конца, задумавшись, припоминает всю свою жизнь, у него ни на секунду не мелькает сожаления о своей деятельности.

Шум шагов жандармов пробуждает Робеспьера от его дум. Он тяжело приподнимает веки и смотрит на Мерда утрюмым, свинцовым взглядом. Мерда твердо знает свою инструкцию, но под этим взглядом его рука дрожит и опускается. Как выстрелить в этого человека? Да ведь это сам Робеспьер!..

А со двора уже слышатся взволнованный голос Кофиналя и рассерженные реплики Анрио. Они идут сюда, сейчас будут здесь, тогда все погибнет! И Адель смелым движением выхватывает у Мерда пистолет и спускает курок. Раздается выстрел, Робеспьер вскрикивает и тяжело съезжает в сторону: пуля раздробила ему челюсть.



При виде этого Кутон делает несколько шагов вперед. Тогда другой жандарм стреляет в него. Кутон падает раненный в ногу.

Тут начинается что-то невообразимое. Полная паника, полная растерянность... кошмар, фантазмагория!

Огюстен Робеспьер выбрасывается из окна. Леба выхватывает пистолет и простреливает себе голову. Тут врываются Анрио и Кофиналь. Они видят истекающего кровью Робеспьера.

– А, это все ты, негодяй! – кричит Кофиналь, рассерженный нераспорядительностью Анрио, не позаботившегося поставить достаточную охрану у ратуши.

И в полном отчаянии, бешенстве, почти безумии от вида окровавленного Робеспьера, Кофиналь хватает Анрио поперек тела и выбрасывает из окна туда, где уже лежит искалеченный Огюстен.

А Адель тем временем змеей подползает к Робеспьеру. Она наклоняется к нему, смотрит ему в погасающие глаза и внятно шепчет: «Это тебе за Крюшо, за Крюшо, за Крюшо», – и троекратно плюет в окровавленное лицо павшего диктатора.

Максимилиана Робеспьера сейчас же перенесли в комитет общественной безопасности, где его и оставили

до утра без всякой медицинской помощи. Только утром к нему прислали доктора перевязать рану, под влиянием мысли, что иначе Робеспьер, пожалуй, не сможет предстать перед судом.

Суд был краток: сам Робеспьер упростил его процедуру. Десятого термидора – 28 июля 1794 года – его повели на казнь. Тяжек был его путь до эшафота: народ, выстроившийся шпалерами по пути прохождения кортежа осужденных, осыпал его руганью и насмешливо титуловал: «Король!» и «Ваше величество!».

Поднявшись на эшафот, Робеспьер грустно оглянулся. Говорить он не мог. Но жест, с которым он поднял руки, был красноречивее слов:

– Будь благословенна ты, Франция!

В то время как нож гильотины с глухим стуком отделял его голову, две женщины – две парки – более всех зрителей, более всего Парижа, более всей Франции реагировали на эту смерть. Одна тут же, на площади, в диком, разнузданном танце выражала свой восторг, другая в истерических рыданиях билась на полу в своей комнате.

Никогда не оправилась Тереза Дюплэ от этого страшного удара.

# Примечания

1

Знаменитый греческий лирик.

2

Так называемая субъективная и объективная теория репрессий. Можно пояснить все сказанное следующим примером из русской истории. Царствования Иоанна Грозного и Петра Великого в достаточной мере богаты казнями. Но в то время как Иоанн казнил потому, что испытывал постоянный страх (мания преследования), Петр казнил для того, чтобы ослушники и противники реформ ходили под постоянным страхом.

3

Собственно «Анна Тервань из деревни Мерикур». Это – одна из интереснейших личностей революции. Она родилась в 1762 г. Ее отец, богатый купец из крестьян, дал ей хорошее воспитание. Соблазненная каким-то дворянином, Анна семнадцати лет сбежала из дома. В начале революции очутилась в Париже, и здесь

ее салон охотно посещали все знаменитости того периода времени. В первое время Теруань де Мерикур была чрезвычайно популярна, но ее отвращение к эксцессам и жестокостям революции сделало ее неудобной для якобинцев. Спасаясь от преследования, Т. бежала за границу, попала в Вене в тюрьму, из которой была выпущена по личному распоряжению императора Леопольда. Пребывание в тюрьме на короткое время вернуло Т. прежний ореол, но, когда по возвращении в Париж она открыто высказала свое отвращение по поводу сентябрьских убийств, к ней опять начали относиться холодно. 31 мая 1793 г., когда решался вопрос о судьбе жирондистов, Т. долго и страстно защищала на площади вблизи конвента жиронду. Окончив свою речь, она ушла в Тюильрийский сад. Вдруг туда пришла целая толпа якобинок, так называемых «tricoteuse de Robespierre» («чулочниц Робеспьера»), которые бросились на Т. и подвергли ее мучительному сечению розгами. Теруань де Мерикур тут же сошла с ума. Ее отправили в дом умалишенных, где она пробыла до смерти (1817 г.).

## 5

У католических священников: выбритое место на макушке.

## 6

Конвент реформировал календарь, приняв началом новой эры день провозглашения республики – 22 сентября. Каждый месяц разделялся на три десятидневных периода («декады») и имел новое название. Первый месяц продолжался от 22 сентября до 21 октября и назывался «вандемьер», т.е. месяц вина, так как в это время производилась уборка винограда и отжимка вина. Затем в последовательном порядке шли: брюмер (месяц туманов), фример (месяц заморозков), нивоз (снежный), плувиоз (дождливый), вентоз (ветряный), жерминаль (месяц произрастания), флореаль (цветения), прериаль (лугов), мессидор (дарящий жатву), термидор (дарящий жару) и фрюктидор (дарящий плоды).

## 7

Секвестр – запрещение пользования каким-нибудь имуществом, налагаемое органами власти.

8

Около двухсот тысяч рублей.

9

Так назывались повстанцы-роялисты, которые вели (главным образом в Вандее) партизанскую войну с республиканским режимом. Происхождение этого названия точно не установлено. Одни производят его от вождя майеннских роялистов Коттро, прозванного Жаном Шуаном. По мнению других, это название объясняется криком птицы из породы сов, называемой по-французски chouette, который был условным знаком для опознания единомышленников-роялистов.

10

24 марта.

11

При старом режиме Талейран состоял в сане епископа. Он вышел из духовного сословия в 1790 г., когда разразилась революция.

## 12

Священнослужение (жречество).

## 13

«Фурнэ» значит печь, битком набитая чем-нибудь — например, посаженными хлебами. В просторечии это выражение очень часто употребляется в соответствии с русским «оптом» или «гуртом». В истории Французской революции «эпохой фурнэ» называют тот период диктатуры Робеспьера, когда подсудимых без разбора набирали по тюрьмам и отправляли на казнь большими партиями, стараясь воздействовать на массы количеством казнимых.

## 14

Антон Лаврентий Лавуазье, знаменитый ученый, родился в 1743 году в Париже. Он был создателем всей современной химии, построенной на им открытом законе о сохранении материи: «ничто не теряется, ничто

закон о сохранении материи: «ничто не теряется, ничто не создается». Трудно перечислить все открытия Л. в этой области. В физике Л. значительно развил учение о теплоте и внес массу ценного в вопрос о газообразном состоянии тела. Л. умер всего на пятьдесят первом году жизни, в самом расцвете научной деятельности.

## 15

День падения Робеспьера (27 июля).

## 16

Лекуантер и Тирьон предполагали убить Робеспьера у подножия трибуны.

## 17

Воплощение индийского божества Вишну. Идол Джагернаута вывозится на праздник на специальной, очень тяжелой колеснице, под которую из религиозного фанатизма бросаются богомольцы, гибнущие под колесами.